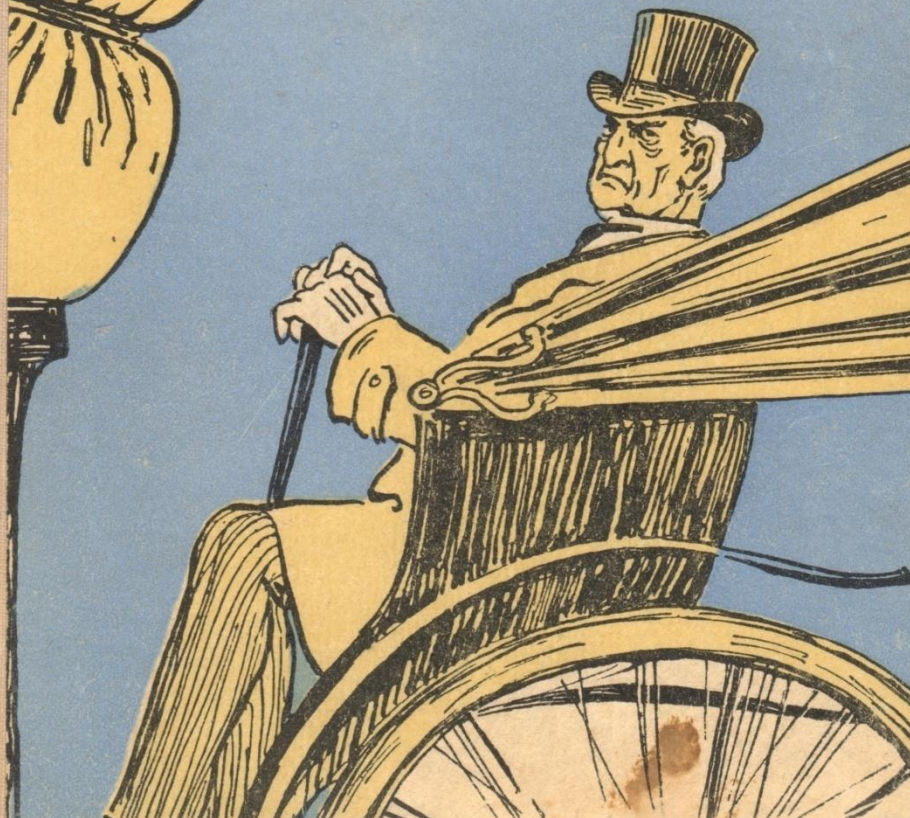


13.3
3-42

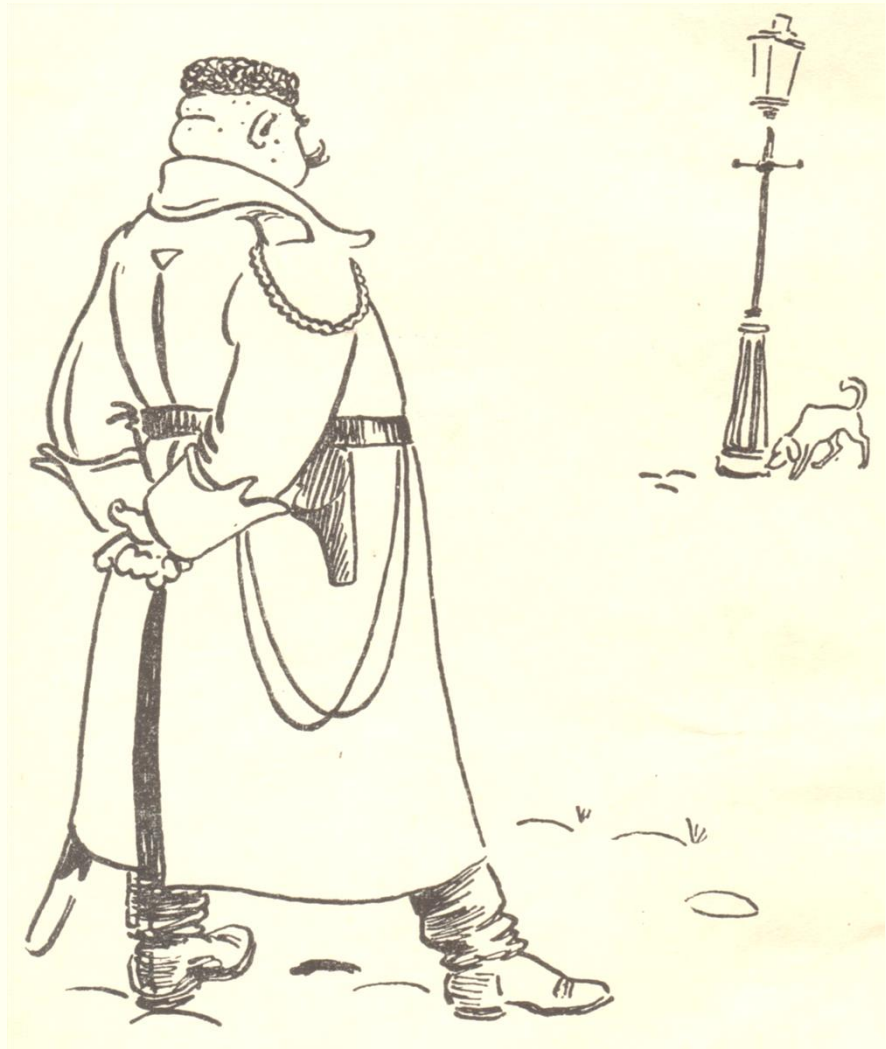
Сергей
Званцев

МИЛЛИОННОЕ НАСЛЕДСТВО





**РОСТОВСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1965**



Сергей
Званцев

МИЛЛИОННОЕ
НАСЛЕДСТВО

РАССКАЗЫ О ТАГАНРОГЕ

ЦГПБ им. А.П.Чехова

Отдел
краеведения

86984

ОТ АВТОРА

Первое произведение Чехова, прочитанное мною еще мальчиком, был рассказ «Житейские невзгоды». Мне показалось совсем не смешным, а печальным и странным, что Лев Иванович Попов, купивший сторублевый выигрышный билет в рассрочку, в конце концов заплатит банковской конторе Кошкера колоссальную сумму 1 347 821 руб. 92 коп. и что «если вычесть отсюда выигрыш в двести тысяч, то все же останется убытку больше миллиона».

Может быть, мне и не пришло бы в голову читать сборник «Невинные речи», лежавший в отцовском кабинете на круглом столике, крытом бархатной вытертой скатертью, но в доме царило

волнение, связанное с приездом в Таганрог Чехова.

Тогда я почему-то считал, что Чехов — маленького роста. Ясно припоминаю: когда раздался звонок и открываться вышел сам отец, а я усердно заглядывал в щелку, в дверях показался высокий, именно высокий, и худой человек, в черном пальто и черной шляпе, несмотря на лето.

Отец сказал дрогнувшим голосом: «Здравствуй, Антон!»— и я удивился и этим неизвестным мне ноткам и тому, что старые люди называют друг друга по имени, а не доктором, например: я знал, что Чехов тоже врач, как и мой отец. А в кабинете, куда вход был непосредственно из передней, уже сидел консилиум: доктор Шимановский и доктор Лицын, оба с пышными бородами. Консилиум собрался, чтобы решить, можно ли Чехову остаться в Таганроге, на чем Антон Павлович стал снова настаивать: время от времени писатель возвращался к этой мысли. Еще в 1895 году он писал Г. М. Чехову:

«Жаль, что я не богатый человек и живу только на заработки, а то бы я непременно купил себе в Таганроге домишко поближе к морю, чтобы было где погреться к старости...»

И позже Чехов все собирался поселиться в родном городе и купить для этого домик на Митрофаниевской или Михайловской улице. Под

конец речь стала уже идти не только об уютном уголке, но и о климатически здоровом месте. Не годится ли для этого Таганрог, приморский южный город?

Консилиум решил: нет, не годится. Восточные ветры, зимние холода...

Я по-прежнему стоял за дверью и смотрел в щелку. Первым из кабинета показался осанистый Лицын, за ним шел Антон Павлович. Мне почудилось, что он смущен или испуган. Возможно, так оно и было. Кажется, его коллеги высказались слишком откровенно...

Обычно таганрожцы расставались со знакомыми витиевато и многословно: «Будьте здоровеньки, не забывайте нас». Или: «Как жаль, что вы уже уходите!» Ничего подобного на этот раз не говорилось. Антон Павлович попрощался вежливо, но коротко: «До свидания». Врачи ответили нестройно, как новобранцы на смотре. Дверь захлопнулась...

Помню, отец грустно сказал моей матери:

— Я удивляюсь, как может дышать человек такими легкими...

Прошло много лет. В 1935 году в Таганрог приехали артисты МХАТа отметить семидесятипяtilетие со дня рождения Чехова. Ставили «Дядю Ваню». Заглавную роль играл

Вишневский. Серебрякову — Книппер-Чехова, так же как на первом представлении пьесы в Москве, 26 октября 1899 года. А днем в театре мой отец, врач Исаак Яковлевич Шамкович, когда-то сидевший в восьмом выпускном классе гимназии с Чеховым за одной партой, выступал с воспоминаниями о гимназических годах писателя.

Слушая рассказ о затхлой атмосфере гимназии семидесятых — восьмидесятых годов прошлого столетия, я узнавал в мрачных насадителях триединства («православие, самодержавие, народность») известные мне фигуры «господ учащихся». Я ведь еще застал в гимназии чеховских «педагогов»: инспектора Дьяконова, по прозвищу Сороконожка, прообраз человека в футляре, злобного учителя латыни Урбана, гимназического надзирателя Павла Ивановича Вукова; прозванного «депутат» или «дипломат».

Павел Иванович Вуков служил классным надзирателем в местной мужской гимназии. В его обязанности входили, как было сказано в инструкции министерства просвещения, «помощь и споспешествование г. инспектору в деле воспитания юношества как в стенах учебного заведения, так и вне таковых». На деле все сводилось к слежке и доносительству. Гимназисты младших классов боялись Вукова смертельно. Его высокий рост,

черный сюртук, ловкость, с которой он сплевывал через губу, даже вошедшее в привычку поддергивание брюк, когда Вуков резким движением прижимал обе ладони к животу, а плечи высоко поднимал, — все вместе наводило страх на «мартышек».

Особенно устрашающе на них действовал грозный окрик:

— Што ви делаете?!

Павел Иванович слегка шепелявил, а «ы» произносил по-таганрогски мягко, как «и», — «ви», «ми».

Антон Павлович на всю жизнь запомнил Вукова. В феврале 1893 года в переписке с братом Александром он шутливо вспоминает своего классного надзирателя:

«Скажи Rogozinu, что если к 1-му марта он не пришлет мне паспорта, то я напишу в Таганрог Вукову».

Павел Иванович Вуков, «воспитатель» гимназистов, умело маневрировал между Сциллой инспекторского гнева и Харибдой ненависти учеников. Он отлично знал, что вторая стоит первой. Недаром столь плачевно пострадал от мщения восьмиклассников ненавистный учитель латыни Урбан, взорванный на пороге собственного дома динамитным патроном. Неважно, что динамит

оказался ненастоящим и что взрыв последовал лишь в виде зловещего шипения и густого дыма, повалившего из-под ног Урбана. Урбан был «взорван», хотя ни один седой волос не упал с его квадратной головы старого злого бульдога: скандальный слух вышел за пределы Таганрога, дошел до попечителя учебного округа, и Урбана перевели в Торжок.

Все это случилось позже, а в чеховские времена Урбан, не встречая явного сопротивления, властвовал над ненавидящими его учениками, изводя их «экстемпоралиями», то есть переводами русского текста на латинский язык.

«Рука всевышнего отечество спасла», — диктовал Урбан, высокий, с черной бородой угрюмый человек, медленно шагая по классу. На одной из парт, у окна, сидел коренастый юноша Антон Чехов (отец подчеркивал, что в юности у будущего писателя был здоровый, даже цветущий вид!) и пытался перевести эту фразу на язык Вергилия...

А «воспитатель» Вуков заглядывал в дверное окошечко: смотрел за порядком.

И должность-то у Вукова была тюремная: надзиратель!

Директорами, инспекторами, а по возможности и преподавателями, не говоря уже о

попечителя учебного округа, назначались охранительно настроенные чиновники. Не был исключением и инспектор А. Ф. Дьяконов. Чехов гениально подметил в обычном гимназическом инспекторе культивируемые царским строем черты человека без души. Я и сам немного помню этого Дьяконова: маленький человечек, с мочальной бородкой, в странной одежде с фалдочками, именовавшейся вицмундиром.

Когда я был уже в третьем классе, Дьяконов умер. Для гимназистов это был праздник: по случаю похорон нас отпустили со второго урока.

* * *

...В 1903 году в Таганроге на главной улице, против входа в чудесный городской сад, устанавливали бронзовую статую Петра Первого и долго спорили, в какую именно сторону должен быть повернут лицом Петр: в сторону ли уходящей вдаль прямой, как стрела, Петровской улицы или же навстречу въезжающим в город гостям, то есть в сторону знаменитого таганрогского шлагбаума с двумя остроконечными столбами с позеленевшими шарами на верхушках.

В конце концов городская управа решила в пользу первого варианта, оставив много недовольных.

Городская дума пригласила Антона Павловича на открытие памятника, и таганрожцы заранее гордились и хвалились тем, что он приедет в Таганрог полюбоваться памятником, безвозмездно вылитым в бронзе Антокольским по его же, Чехова, просьбе. Но Чехов не приехал. Здоровье его было уже окончательно подорвано... Через год Антона Павловича не стало...

* * *

Я снова приехал в Таганрог, в город моей юности, в шестидесятом году, к столетнему юбилею со дня рождения Чехова. Наверно, думал я, мне будут показывать современников Чехова, а сами современники станут в очередь, чтобы поведать свои воспоминания. Я ошибся! Таганрожцы, и старые и молодые, оказались одержимыми совсем другой идеей. По их мнению, чуть ли не все творчество Чехова — это описание таганрогской действительности!

— «Лошадиная фамилия»? — запальчиво говорил таганрожец. — Рассказ пошел от анекдотической встречи в таганрогской гостинице двух местных богачей — Жеребцова и Кобылкина. «Свадьба»? Кондитер Дымба — это таганрогский грек Стамати. Он частенько заходил в лавку Павла Егоровича Чехова и уговаривал отдать Антошу в местную греческую школу, неумеренно восхваляя

Грецию. «У нас, в Греции, все есть», — это его фраза. Что, не верите?

— Да нет же, верю. Я уже об этом слышал.

— Ах, слышали! А что «Маска» — таганрогская быль, это слышали? А «Огни» и «Степь»?

— Пожалуй, слышал.

— А «Три сестры» — как? Слышали?

— Но позвольте! В «Трех сестрах» речь идет, например, о березах, а в Таганроге березы не растут!

— Березы не растут, а артиллерийская бригада здесь при Чехове стояла. Подполковник Вершинин — типичный таганрожец!

И мне (я ведь тоже таганрожец!) уже начинало казаться, что и в самом деле единственный рассказ Чехова, написанный не о Таганроге, — это «Дама с собачкой», да и то из-за категорического упоминания там Ялты как места действия. Я прерываю своего собеседника и сам перечисляю известные мне от отца «таганрогские» сюжеты рассказов Чехова:

— «Лев и Солнце» помните? В русский город приехал персидский сановник, и у него выпрашивает орден «Льва и Солнца» городской голова. Так вот, все это случилось с таганрогским городским головой Фоти. Приводимые Чеховым насмешливые стихи: «Я сам себя б разрезал, как

барана, но, извините, я — осел» — действительно были посланы честолюбивому Фоти, написал стишки секретарь городской управы. А «Хирургия»?

Я увлекаюсь все больше:

— Знаменитая сцена с неудачным вырыванием зуба разыгрывалась Чеховым-гимназистом и его братом! У меня записана фамилия таганрожца, прототипа фельдшера-хирурга, — Довбило. Незадолго до первой мировой войны он был еще жив и очень гордился тем, что его «прописал» Чехов...

Так мы, дополняя друг друга, беседовали много раз. А в результате... Мои земляки помогали мне дописать не одну правдивую историю о Таганроге, о прототипах чеховских персонажей и о людях, которые могли бы стать этими персонажами.

Перечтя написанное, я, однако, убедился, что меньше всего это мемуары о Чехове. Ряд рассказов имеет едва заметное отношение к Чехову, другие совсем не имеют. Но все они — о Таганроге, городе, который любил Чехов. В некоторых из них еще жива и неприкосновенна атмосфера чеховского города (например, «Чудо Иоанна Кронштадтского», «Дуэль», «Миллионное наследство»), в иных уже появляются новые люди («Номер «Правды»). А в рассказе «Инженер Свиридов» чеховский Таганрог

вырастает в арену смертельной классовой вражды. События происходят в девятнадцатом году — через много лет после смерти Чехова. Но мне кажется, что история благородного русского инженера Свиридова, честного и смелого патриота, как-то перекликается с историей инженера Должикова, стяжателя и нечистоплотного дельца (рассказ Чехова «Моя жизнь»). Разве не о таких людях, как Свиридов, мечтал Чехов, создавая своего Должикова? А ведь это тоже «таганрогский» рассказ...

Итак, что же это, в конце концов? Мемуары? Нет, путевые заметки об увлекательном путешествии по пути из Старого Таганрога в Новый...

Миллионное наследство

Сто лет таганрожцы мечтали о водопроводе. Сменялись городские головы, умирали члены городской управы, а мечта оставалась мечтой.

Состоятельные таганрожцы, жившие в центре города в собственных домах, строили глубокие, бетонированные колодцы, так называемые цистерны, куда стекала по трубам дождевая вода с крыш. В рабочих же поселках — Касперовке, Камбициевке, Собачеевке — цистерн не было. Жителям окраин приходилось носить воду за три — пять километров из морского залива, где она была «почти пресная», но частенько с неприятным запахом. Когда же поднимался западный ветер, гнавший на берег волны из открытого моря, вода в заливе становилась к тому же горько-соленой.

Чехов в 1902 году писал: «Если бы в Таганроге была вода или если бы я не привык к водопроводу, то переехал бы на житье в Таганрог».

А годом позже Антон Павлович деликатно укоряет таганрогского городского голову врача Иорданова за медлительность:

«Читаю обе Ваши газеты и никак не пойму, будут ли в Таганроге водопровод и канализация или нет».

«Когда в Таганроге устроится водопровод, тогда я продам ялтинский дом и куплю какое-нибудь логовище на Большой или Греческой улице».

Антон Павлович, неоднократно и упорно возвращавшийся к этой мысли, считал, что его родной город неизмеримо выиграет, получив наконец хорошую питьевую воду.

Но водопровод в Таганроге появился лишь после Октября. До революции же его «чуть было» не построили. В архиве городской управы сохранились письма и докладные, свидетельствующие об этом.

Однако в последний момент все дело провалилось.

Вот как это было.

В начале октября 1912 года таганрогский купец Запорожец сделал сенсационное заявление, что у него хранится духовное завещание миллионера Лободы, умершего год назад. Черным по белому в этом завещании было написано, что город получает почти весь капитал покойного, примерно два миллиона рублей, со специальным назначением: на постройку водопровода. Душеприказчиком, то есть распорядителем наследства, обнаруженный документ назначил того же Запорожца, которому за труды завещалось 50

тысяч рублей и три магазина. Это была чертовская неожиданность! Дело в том, что сразу после смерти Лободы, умершего бездетным и вдовым, никто не объявлял о наличии завещания. Наследники, конечно, нашлись: двоюродные или даже троюродные племянники покойного, два брата — Василий и Иван Лобода. Но было известно, что оба брата даже и не признавались одиноким и угрюмым старовером-дядей за родственников.

Старший, Василий, мужик крепкий, числился в лихачах, держал пару рысистых лошадей и пролетку на дутых шинах. По вечерам катал Василий по темным улицам Таганрога влюбленные парочки, взимая по тройку за час.

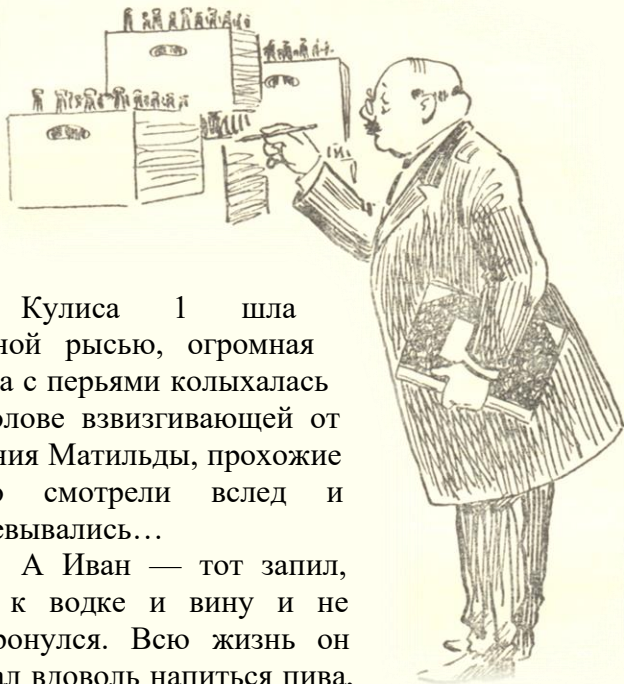
Младший, Иван, был обладателем клячи, запряженной в дребезжащую старую пролетку. «Извозчик!» — кричали ему редкие прохожие, и он, усердно нахлестывая многострадальную клячонку, услужливо «подавал», радуясь перепавшему двугривенному. Но седоков было мало, и долгими часами Иван понуро сидел на козлах, согреваясь в морозный день особой, извозчичьей, гимнастикой: разведет широко руки в стороны и с размаху ударит ими крест-накрест, точно обнимая самого себя.

Братья по-разному отнеслись к внезапно пролившемуся над ними золотому дождю. Лихач Василий, получив на свою долю около восьмисот

тысяч наличными, положил их в банк и образа жизни не изменил. Он лишь променял стареющего Красавчика на рысистую караковую кобылу Кулису 1, доплатив после недельного торга сто рублей, и отдал поникелировать спицы своего щегольского экипажа. Теперь за час прогулки он брал не три рубля, как раньше, а четыре и даже пять. Седоки перестали звать его Василием, а называли по батюшке: Василий Порфирьевич.

Жену свою, Дуньку, тихую, богомольную, рано состарившуюся женщину, Василий Порфирьевич, вернувшись из банка, выгнал со двора. Не плача и не прекословя, Дунька ушла, провожаемая хмурыми взорами молчаливых соседей; в руках у нее был узелок тряпья. Говорили потом, что она пошла жить к своим старикам, бедовавшим в близком селе Голодаевке.

Вскоре поселилась в тесном флигелечке Василия Порфирьевича бойкая девица Матильда Ивановна, пившая водку и знавшая несколько слов по-французски. Василий Порфирьевич катал ее по воскресным дням в своем блестящем на солнце экипаже. В нарядной плисовой безрукавке поверх шелковой розовой рубахи он боком, залихватски, сидел на козлах, свесив с подножки ногу в наборном сапоге.



Кулиса 1 шла крупной рысью, огромная шляпа с перьями колыхалась на голове взвизгивающей от упоения Матильды, прохожие долго смотрели вслед и отплеывались...

А Иван — тот запил, хотя к водке и вину и не притронулся. Всю жизнь он мечтал вдоволь напиться пива, чудесного таганрогского пива, стоившего четвертак бутылка. С этой мечтой он дожил до сорока лет, облысел, не обзавелся по бедности семьей и теперь, точно в сказке, достиг своей мечты.

Клячонку с пролеткой он подарил глухому деду — церковному сторожу, и тот на старости лет, кряхтя и охая, влезал на покривившиеся козлы и в драном армяке, также подаренном ему сердобольным Иваном, выезжал по утрам на извозчичью биржу у городского сада. А сам Иван,

лежа в своей старой каморке на голом грязном тюфяке, окруженный пустыми бутылками из-под пива, тянулся, не вставая, к новому ящичку.

Оба брата были, каждый по-своему, счастливы. Никто из них не ожидал, что суровая судьба в лице торговца галантереей Запорожца внезапно занесет над ними свою длань, потрясающую страшным документом — духовным завещанием «дорогого усопшего дяденьки» Ивана Лободы.

Завещание Запорожец представил по всей форме в окружной суд и потребовал принятия мер к охранению наследства. Толстый судебный пристав Попов, утверждавший, что расплодившиеся в таганрогских домах мелкие муравьи «весьма полезны для здоровья, будучи настояны на водке», явился в банк и наложил арест на текущий счет Василия, потом — на текущий счет Ивана. Оказалось, что за прошедший год Василий приумножил капитал на десять тысяч, а Иван растратил на пиво одну тысячу сто шестнадцать рублей и сорок копеек.

После этого Попов, надев нагрудную цепь с бляхой, появился во флигельке Василия и описал все до нитки, включив в опись новую наборную сбрую и Матильдину шляпу с перьями.

У Ивана Попов брезгливо покрутил толстым сине-красным носом и ограничился внесением в опись тщательно им пересчитанных пустых бутылок, каковых оказалось свыше двух тысяч семисот.

— Ты бы, братец, хоть форточку открыл, — сказал он на прощанье ошеломленному Ивану.

После ухода со двора пристава Василий в кровь избил Матильду и пошел к бывшему прокурору, а ныне адвокату Араканцеву.

А в городе началось ликование!

— Слава тебе, господи, — крестились таганрогские мещане, сидя на завалинке у беленьких своих домов с палисадниками. — Туговат был покойник, не тем будь помянут, царствие ему небесное, а какую штуку выкинул!

— Быть теперь нам с водой! — радовались дебелые хозяйки, голосисто перекликаясь через низкие заборчики, отделявшие одно домовладение от другого. — Теперь и постираться и покупаться... Шутка ли — два миллиона!

В местной газете «Таганрогский вестник» появилась большая статья под заголовком «Благая весть». Автор ее, сам редактор-издатель газеты Козьма Дамианович Чумаченко, весьма красочно описывал благодеяние, оказанное городу покойным, именовавшимся в статье «щедрым дарителем»,

который, «взирая из райских нив на водяное торжество в родном городе, прольет слезу умиления».

«Водяное торжество» придумал не сам Козьма (именно Козьма, а не Кузьма; за букву «у» в своем имени он жестоко обижался), а газетный хроникер, он же — рецензент, автор передовых и правщик, Вася Китаев, высокий малый из недоучившихся гимназистов. Редактор-издатель в пышном газетном слоге был не силен. В грамоте — тоже. В некие давние времена влюбилась в него, тогда маленького служащего станционной багажной конторы, перезрелая единственная дочка владельца газеты и типографии при ней (вернее, типографии и при ней газеты) Кокорева. После благополучной своей женитьбы, а затем кончины папаши Козьма стал единоличным владельцем и редактором «Таганрогского вестника», газеты, выходившей по вечерам «на завтра», с датой завтрашнего дня. Чумаченко повел газету бойко, с оттенком благородного либерализма, но и с духом достойного уважения к начальству.

Статью «Благая весть» читали и перечитывали. Значит, правда, если пропечатали в газетах! Значит, и в самом деле сжалилась судьба над городом, значит, и в самом деле будет здесь питьевая вода, которая, как заколдованный клад,

ускользала от жаждущих уст столько десятилетий!
Два миллиона, два миллиона!

Потом очень скоро по городу распространились слухи, что-де не так все просто, как некоторые думают. В кофейнях, забросив любимое домино, старые греки шептали друг другу на ухо:

— Стасу рэ! Подождите! Васька Лобода пошел до Араканцева. Он вам покажет водопровод! Он вам покажет водопровод!

— Кирие елейсон! Господи помилуй! — ужасался собеседник. — Но ведь мы выбрали господина Араканцева в Государственную думу потому, что он обещал нам водопровод!

— Араканцев — очень хитрый господин, — многозначительно покачивал лысой головой какой-нибудь умудренный опытом старик Попандопуло или Евстратиади.

Вскоре по городу поползли слухи совсем неприятные: говорили, что присяжный поверенный, член Государственной думы всех трех созывов, кадет Араканцев предъявил в окружном суде от имени братьев Лобода иск о признании завещания подложным. А еще через несколько дней Козьма Чумаченко, сделав поворот на сто восемьдесят градусов, напечатал грамотно написанное, явно не им самим, интервью с Араканцевым «Беседа с нашим избранником».

«Наш избранник» не отрицал принятия на себя защиты интересов «законных наследников усопшего», но — боже сохрани! — не из корысти, а во имя торжества вящей справедливости. Завещание явно подложное, утверждал автор интервью, едва ли не сам Араканцев. Чего бы ради купец Запорожец держал у себя завещание целый год, не предъявляя его тотчас после смерти наследователя? Как мог он забыть о столь важном документе? Не странно ли, что покойный Лобода, стоявший, как известно, столь далеко от мирских дел и помышлявший скорее о спасении души, оставил почти все свое состояние на столь мирские цели, как водопровод? Меньше всего он интересовался при жизни вопросами водоснабжения! И наконец, что уже совсем подозрительно, почему, из каких побуждений в завещании сделана оговорка о выделе 50 тысяч рублей и трех магазинов в пользу купца Запорожца — хранителя завещания?

Интервью кончалось красноречивым и многозначительным обещанием Араканцева «добиться ассигнований для таганрогского водопровода законодательным порядком в Государственной думе четвертого созыва, буде господа избиратели вновь почтят его своим высоким доверием. Воду таганрожцы будут пить из чистого, не замутиленного подлогами источника!»

Выборы в четвертую Думу предстояли в ближайшем будущем, и до настоящего дня единственным и беспорным кандидатом таганрогской буржуазии был все тот же Михаил Петрович Араканцев, правый кадет, не проронивший за всю свою бытность в первых трех Думах ни одного слова. Интервью явно било на смягчение ажиотажа, который начался в городе вскоре после внезапно появившегося завещания, и — еще того больше — на смягчение вспыхнувшего недовольства Араканцевым, принявшим сторону «конкурентов» города.

Однако газетное интервью произвело на избирателей совершенно обратное действие.

Как известно, правом избирать и быть избранным в Государственную думу пользовались так называемые «цензовики», то есть лица, владевшие значительным имуществом. Люди, им не владевшие, вообще не почитались за людей. Член Таганрогской городской управы Рябенко, как сообщала ростовская газета «Приазовский край» в номере от 19 июня 1909 года, заявил публично и, так сказать, официально: «Человек, не имеющий имущественного ценза, не может почитаться гражданином».

Но в том-то и дело, что бунт против Араканцева из-за завещания — пусть бы и

подложного, черт с ним! — произошел главным образом среди домовладельцев, то есть наиболее имущих, стало быть, бесспорно граждан и избирателей.

Что же, собственно, случилось? Почему проявили столь несвойственную им страстность и гражданскую ревность таганрогские торговцы?

Всю шумиху подняла и разожгла некая бельгийская концессионная фирма «Анри Лябриссер», давно подбиравшаяся к лакомому куску. Глава фирмы, а на самом деле коммивояжер на процентах, мосье Анри Лябриссер сразу смекнул, что два миллиона покойного Лободы вполне способны помочь ему договориться с членами управы. Но для этого надо было вырвать наследство из цепких рук племянников покойного и дискредитировать их влиятельного адвоката Араканцева.

Игра началась.

Сообразуясь с состоянием умов читателей, таганрогский журналист Тараховский, писавший в ростовской буржуазной газете «Приазовский край» еженедельные фельетоны («Арабески») под псевдонимом «Шиллер из Таганрога», поместил убийственный для Араканцева отклик на злополучное интервью:

«...Почему Запорожец держал целый год под спудом завещание? Да потому, господин Араканцев, что в самом тексте завещания изложена воля покойного: предъявить завещание именно через год. Вы это позабыли? Странно. Почему завещатель оставил магазины и 50 тысяч господину Запорожцу, своему душеприказчику, а не вам, господин Араканцев? А об этом сказано в духовной: «В воздаяние трудов и хлопот по приведению в должный порядок по смерти моей моего имущества». Изволили тоже запомнить?»

Покончив с этой, чисто юридической стороной дела, Шиллер из Таганрога весьма ядовито рекомендовал Араканцеву не затруднять себя планами представительства интересов города в будущей, четвертой Государственной думе, поскольку «едва ли, едва ли гг. таганрогские избиратели положат белые шары сребролюбивому ходатаю, поднявшему руку на самую затаенную мечту земляков».

Фельетон кончался темпераментным призывом забаллотировать Араканцева: «Черняков ему, черняков!»

В городе творилось небывалое. Под давлением находчивого и любезного москвича Лябриссера городская управа срочно ассигновала из «мостовых средств» тридцать тысяч рублей для

оплаты адвокатов на предстоящем судебном процессе. Были приглашены для борьбы с Араканцевым знаменитый столичный присяжный поверенный Малянтович (будущий министр юстиции в правительстве Керенского), екатеринославский златоуст Александров и таганрогский — Золотарев.

Попутно имя Араканцева предавалось анафеме. Таганрогские домовладельцы устроили совещание, на котором единогласно и с большим воодушевлением постановили: во-первых, отменить сделанный уже заказ типографии Чумаченко на печатные призывы выбирать Араканцева; во-вторых, внушить Козьме Дамиановичу, что если он и впредь желает быть «рупором отступника М. П. Араканцева», то владельцы местных фирм прекратят печатание своих торговых объявлений в «Таганрогском вестнике»; в-третьих, наметить кандидатом в Думу вместо Араканцева присяжного поверенного Черницкого, с которым Лябриссер имел в тот же вечер длительную и содержательную беседу.

А дело шло своим чередом. Тараховский в очередных «Арабесках» назвал Араканцева «продажной и мертвой душой». Араканцев привлек Тараховского к суду за клевету, но мировой судья

Кутейников подсудимого оправдал. Страсти разгорались.

Некто А. Е. Елисеев, таганрогский домовладелец и обладатель крупного капитала, при встрече на улице с Араканцевым погрозил ему кулаком, на что Араканцев, раздраженный всей этой передрагой, крикнул обидчику, что-де давно его знает как опасного левого. Испугавшись, домовладелец после совещания с семьей напечатал в ростовской газете «Утро Юга» письмо в редакцию следующего содержания:

«Покорнейше прошу Вас довести до сведения читающей публики, что я ни к какой партии не принадлежу и принадлежать не намерен, а поэтому не признаю ни правых, ни левых».

Неприятности сыпались на Араканцева со всех сторон. Черницкий, получив от Лябриссера куш, красноречиво клеймил коллегу позором:

— Идти против интересов города — да как это возможно!

Правда, в свою очередь Араканцев в речах припоминал некоторые пикантные моменты из адвокатской практики конкурента. Словом, предвыборные собрания таганрогской буржуазии проходили оживленно.

Одно из таких собраний ознаменовалось чрезвычайным происшествием. Сначала все шло как

обычно. Солидные ораторы в сюртуках говорили о пользе водопровода и о «прогрессивном начинании, которому угрожают козни сребролюбивых и недобрых людей». Время от времени выступающим передавали из публики записки, которые, по тогдашнему обычаю, оратор немедленно оглашал. Записки были такого рода:

«Присвоена ли членам Государственной думы особая форма одежды?»

«Кто табели о рангах считается выше: член Государственного совета или Думы?»

Записку оратору подавал кто-нибудь из сидевших в первом ряду. Обычно этот труд брал на себя любезный, с прекрасными манерами, пристав первой части Облакевич, дежуривший здесь по долгу службы.

Вот снова плывет по рядам аккуратно сложенная «секретка». Вот она уже добралась до первого ряда — прямо в руки Облакевичу. С милейшей улыбкой Облакевич, поднявшись, протягивает ее оратору, самому Араканцеву. Араканцев кивком головы поблагодарил любезного пристава и, прервав свои уже всем надоевшие рассуждения о «правде, которая превыше житейских удобств», заискивающе обратился к залу:

— Разрешите огласить?

Он сразу помрачнел, не слыша одобрительных возгласов, так легко сегодня достававшихся на долю его соперника. «Плохо, плохо», — думал он, в расстройстве духа не слыша того, что читает вслух. А записка попалась какая-то необычная.

— «Граждане, — громко, но чисто механически читал Араканцев, — выборы в Государственную думу начались уже во многих губерниях. Скоро начнутся у нас, в Таганроге... Дело не в Думе, не она важна...»

Все видели, что Облакевич делает какие-то знаки, но Араканцев, не замечая, читал дальше:

— «Важно то единодушие, с каким народ придет выразить свое негодование, готовность посчитаться с врагом...»

— Прошу прекратить! — крикнул пристав, теряя всю свою любезность. Впрочем, и сам Араканцев уже прикусил язык. Глаза его скользнули по строкам и с ужасом впились в подпись: «Таганрогский комитет РСДРП».

— Объявляю перерыв! — поспешил заявить перепуганный председатель собрания, нотариус Мясоедов.

За несколько дней до выборов ближайшие друзья Араканцева советовали ему отказаться от ведения дела братьев Лобода, видя в этом

единственный способ восстановить его избирательные шансы. Но в столе Араканцева лежала расписка его клиентов: «...В случае выигрыша дела обязуемся уплатить 20 процентов от выигранной суммы». Двадцать процентов! Это составит 320 тысяч рублей чистоганом! А оклад члена Государственной думы в год — четыре тысячи. Черт с ней, с Думой!

На угрюмом, широкоскулом лице Араканцева друзья его увидели твердое решение идти напролом. Тогда они пустили в ход последний довод:

— Но ведь вы можете дело в суде и проиграть! Араканцев только отмахнулся:

— Проиграть? Да ведь завещание фальшивое, уже и эксперты признали, что подпись подделана!

И в самом деле, завещание, по общему мнению, сфабриковал Запорожец. Эксперты-графологи удостоверили, что подпись на завещании не сходна с другими, более ранними, подписями покойного.

В городе никто ни одной минуты не сомневался в подложности завещания, но самый подлог расценивался как молодечество. Запорожцу жали руку, Запорожца приглашали на обед, выбрали почетным членом Коммерческого клуба и почетным мировым судьей. Запорожец прикидывался

простачком и, пряча улыбку в бороду, проливал слезу о почившем благодетеле.

Заседание гражданского отделения Таганрогского окружного суда открыл председательствующий член суда Епифанович, раздражительный и углубленный в свои мысли шепелявый старик.

Недалеко от него, у пюпитра ответчиков, стояли три светила адвокатуры, сияя белыми манишками; у стола истца высился одинокий и мрачный Араканцев — увы! — уже не член Государственной думы.

Не прошло и часа после начала судебного заседания, как трое находчивых и красноречивых ответчиков напустили вокруг спорного вопроса такого словесного тумана, что все первоначально ясные и простые утверждения Араканцева стали в высшей степени зыбкими и сомнительными. «Графологическая сравнительная экспертиза? Чепуха, сказки для студентов первого курса. Подпись на завещании не похожа на прежние подписи Лободы? Умиравший не способен подписываться так, как он подписывался в расцвете лет. К тому же, графология — не наука, а черт знает что, вроде хиромантии, ею занимаются шарлатаны на ярмарках. Вы бы, уважаемый коллега, прибегли еще к спиритизму и, вызвав дух умершего купца

первой гильдии Лободы, спросили, его ли это подпись. Это было бы уже наверняка. Но дальше! Василий и Иван Лобода, незадачливые наследники, вовсе не двоюродные, а троюродные племянники покойного, что видно из представленной нами справки причта кладбищенской церкви, где оба они крещены. Поэтому, дорогой коллега, в силу разъяснения сената за 1876 год по делу № 42513 они, как троюродные, к наследованию не призываются, и ваш иск от их имени, собственно, даже и не подлежит рассмотрению».

И, наконец, свидетель, бывший таможенный чиновник Кулаков, уволенный за мздоимство, показал, что Лобода подписывал завещание в его, Кулакова, присутствии, находясь на «одре смерти».

Показание этого свидетеля вывело из себя Араканцева. Он снова, в третий раз, попросил у Епифановича слова и, опершись о пюпитр грудью, с горящими мрачным огнем глазами, воскликнул:

— Я должен заметить суду...

— Подоздите, — строго прервал его Епифанович, — делать замечание суду может только государь император и правительствующий сенат. Продолжайте.

Араканцев, спав с тона, продолжал речь.

А через полчаса Епифанович, все это время рассеянно смотревший вдаль и вспоминаявший, по-

видимому, что-то очень важное, вдруг просиял и воскликнул, снова прерывая Араканцева:

— Делать замечание суду мозет также еще господин министр юстиции! Продолжайте!

Но Араканцев, махнув рукой, грузно опустился на стул.

Суд удалился на совещание и совещался так долго, что у Малянтовича закралось сомнение, о чем он шепотом поведал своим собратьям по защите. Араканцев сидел в полном одиночестве в своем углу, отвернувшись от противников. Лябриссер, толстяк с мешками под глазами, в кокетливой бархатной блузе, нервно сосал мятные лепешки.

К вечеру из совещательной комнаты вышла судебная тройка и объявила решение, весьма огорчившее обе стороны:

«Завещание признать подлинным, но, принимая во внимание, что в самом тексте его имеется распоряжение об оглашении только через год после смерти наследователя, между тем как по закону завещание должно быть предъявлено к исполнению не позже чем через полгода, а также признавая истцов троюродными и, стало быть, ненаследоспособными, в иске братьев Лобода отказать, в притязаниях города тоже отказать, а имущество, оставшееся после смерти Ивана

Лободы, объявить выморочным и обратить в доход казны».

Епифанович громко прочел мудреное решение и с торжеством посмотрел поверх очков на притихших адвокатов.

— А, дьябль! — огорчился Лябриссер собственной недогадливостью: подкупив многих, он упустил из виду подмазать Епифановича!..

Дело Вальяно

Похождения таганрогского миллионера-контрабандиста Вальяно попали в поле зрения молодого Чехова. В его раннем рассказе «Тайна ста сорока четырех катастроф, или русский Рокамболь» есть упоминание о нашумевшем в русской и заграничной прессе деле Вальяно. Вот какая история легла в основу этого чеховского рассказа.

В восьмидесятых годах прошлого столетия Таганрог бойко торговал с заморскими странами. Вывозилась главным образом пшеница, ввозились вина, шелка, кофе в зернах, прованское масло.

В долгий период навигации таможенными чиновникам некогда было вздохнуть: то и дело приходилось спешно плыть в баркасе на рейд, за двадцать верст от берега, на глубокую воду, где только что бросил якорь заграничный пароход, и проверять, считать, мерить и взвешивать драгоценный груз, начислять пошлины и сборы...

Частенько чиновники, услышав призывный гудок парохода, встречали в порту скромного молодого человека с черными усиками и изящной курчавившейся бородкой.

Молодой человек угодливо раскланивался, снимая за несколько шагов соломенную шляпу-панаму, и любезно откликался на любую речь:

французскую, итальянскую, греческую, турецкую. Это был Вальяно, портовый маклер, рыскающий с утра до вечера по накаленным от летнего жара плитам набережной в поисках покупателя, товара и продавца — все равно! — лишь бы заработать «комиссию».

Потом, как-то вдруг, неожиданно и загадочно, Вальяно превратился из суетливого комиссионера в солидного «купца. В его адрес стали приходить морем небольшие партии духов из Франции, маслин и прованского масла из Греции («барабанского», как его здесь называли). Вальяно потолстел и стал медлителен в речи и в походке. При встрече с ним таможенные кланялись первыми.

А еще немного позже получилось так, что имя Вальяно стало значиться чаще других в морских коносаментах. Поставщики слали ему грузы уже целыми пароходами и баржами.

Вальяно сказочно быстро богател, по никто очень долго не мог понять, каков источник его богатств.

А когда это стало ясным, Вальяно был так богат, что уже не боялся разоблачений.

И до Вальяно были крупные контрабандисты. Они ввозили шелка и пряности в двойных чемоданах, в бутылках с фальшивым дном, даже в головных уборах.

Но Вальяно был контрабандистом особого рода: он ввозил запрещенные товары целыми пароходами вовсе не для того, чтобы их продать, обойдя запрет, а для того, чтобы потопить на самом законном основании.

Существовало таможенное правило: после того как чиновники проверят груз и исчислят пошлину, грузовладелец был вправе или, оплатив пошлину, забрать с парохода товар, или же, отказавшись от оплаты, потопить весь груз на рейде. Акт о потоплении груза подшивался к делу, и пароход, погудев на прощание, уходил в обратный рейс.

Каждый раз, когда хлопотливые таможенные чиновники, проверив груз, адресованный Вальяно, объявляли ему сумму пошлин и сборов, Вальяно неизменно заявлял об отказе выкупать груз.

— Топить? — деловито спрашивал ко всему готовый капитан.

— Топите, — равнодушно отвечал Вальяно.

Тотчас заполнялся «бланк отказа грузовладельца от принятия груза». А ночью производилось потопление. Ночью, а не днем: в благоразумно составленной инструкции топить в море ценные грузы рекомендовалось «затемно, дабы местные рыбаки не покусились на потопляемые товары».

Надо ли пояснять, что в действительности никакого «потопления» не было и что, сэкономив на каждом пароходе тридцать — сорок тысяч рублей пошлины, Вальяно уделял две-три тысячи загребушим таможенным, а груз извлекал не со дна Азовского моря, но получал сполна с борта парохода!

У Вальяно была зафрахтована целая флотилия турецких фелюг — плоскодонных вместительных лодок, незаменимых на этот случай. По ночам бесшумно скользили они по морской глади с рейда, а потом — по мелководью в тихую заводь, где глубоко сидящему судну не пройти, как раз к тому месту у берега, откуда начинался подкоп — туннель, ведущий в гулкие подвалы особняка Вальяно на Приморской улице.

Товар в подвалах не залеживался: оборотистый негоциант сбывал его с прибылью оптом местным крупным бакалейщикам Кулакову, Лысикову, Кумаии... От каждого «потопления» Вальяно опускал в карман полсотни тысяч рублей. Далеко ли было от нищеты до двенадцатимиллионного капитала, скопленного им к моменту разразившейся катастрофы?

В Таганрог прибыл новый прокурор окружного суда, снедаемый жаждой быстрой, головокружительной карьеры. Очень скоро

прокурор узнал все подробности о самом богатом таганрогском купце и о том, как он разбогател. Для этого прокурору вовсе не требовались особые таланты: любой мальчишка в городе отлично знал всю историю ночных потоплений и с закрытыми глазами мог указать место на берегу, где начинается подкоп в дом Вальяно. Летом, отправляясь на рыбную ловлю, загорелые полуголые сорванцы звонко перекликались:

— Ванька, сыпь до вальяновского подкопа!

Не заботился об особой конспирации и сам Вальяно: кто из купленного и перекупленного местного начальства подымет на него руку? Руку, которая столько раз протягивалась к его руке за «барашком в бумажке»?

А тут явился прокурор, неподкупный, как статуя Командора. Неподкупность его, как вскоре убедился Вальяно, была самого зловредного свойства. Не из бескорыстия и равнодушия к благам земным решительно отклонил прокурор разговор о «займе на ремонт дома», затеянный посланцем Вальяно, его адъютантом и телохранителем Жорой Скарамангой, а из расчетливой надежды «громким процессом» быстро добиться служебного преуспеяния.

— Не берет? — задумчиво спросил Вальяно у смущенного Жоры.

— Не берет, капитане, — вздохнул Жора.

Вальяно выругался по-курдски и с силой дернул свою черную курчавую бородку.

Дело «о контрабандном привозе на турецких фелюгах заграничных товаров купцом Вальяно» двигалось с необычайной для тех времен быстротой. Страстное честолюбие прокурора опрокидывало все препятствия. Уже заговорили столичные газеты о «таганрогской панаме», уже были допрошены с десяток матросов и рыбаков, перевозивших контрабанду, уже пришлось припертому к стене очными ставками Вальяно признать всю фелюжную эпопею, уже наложен был впредь до суда арест на товары, текущие счета и даже на самый особняк Вальяно. Наступил день суда... Приехал и остановился в лучшем номере гостиницы выписанный Вальяно из Петербурга известный адвокат Пассовер.

В судейских кругах города удивлялись выбору Вальяно. Пассовер? Почему, собственно, Пассовер? Среди столичных уголовных защитников гремели Андреевский, Спасович, начинал свой блистательный взлет Плевако. Да, конечно, присяжный поверенный Пассовер пользовался широкой известностью, но как специалист по гражданским искам, а вовсе не как уголовный защитник! Почему же именно Пассовер приглашен

участвовать в этом уголовном деле по обвинению в контрабанде?!

Однако Вальяно отлично знал, что делал. По той статье «Уложения о наказаниях», по которой он должен был предстать перед судом присяжных, ему угрожало три месяца тюрьмы — велико ли дело! Но одновременно с признанием его виновным в контрабанде с него автоматически взыскивались бы двенадцать миллионов рублей штрафа за контрабанду: точный расчет был уже составлен неумолимым прокурором. Двенадцать миллионов — как раз все вальяновское состояние! Тут должен был помочь великий казуист и крючкотвор Пассовер, или никто и ничто уже не поможет... кроме прямого подкупа присяжных, конечно.

Накануне слушания дела Жора с ног сбился, выведывая засекреченный список присяжных заседателей на завтра. Присяжных должно было быть двенадцать, но приятели и маклеры перестарались, и, по добытым сведениям, получился фантастический список в сто фамилий. Однако тончайший нюх, свойственный Жоре, направил его по двум-трем правильным адресам, где разговор состоялся с глазу на глаз, не без пользы для обеих сторон. К вечеру Вальяно выслушал доклад «адъютанта» и чуть воспрянул духом. Но только

чуть: два-три присяжных, а судьбу его будут решать двенадцать!

У большого здания окружного суда с раннего погожего сентябрьского утра собралась толпа. В восемь часов прискакал конный отряд полиции и, наезжая храпящими мордами взмыленных лошадей на толпу, отеснил любопытствующих от главного входа, с Петровской улицы. Ровно в девять в здание суда вошел высокий, сухопарый прокурор с бритым невыразительным лицом. Подъехал в собственном экипаже председатель, пешочком пришли члены суда, за ними потянулись присяжные заседатели — местные купцы и мещане, бородатые, каменнолицые. Не здороваясь со знакомыми, в сознании своего особого положения, как бы отделяющего или даже отрешающего их от всего остального человечества невидимой преградой, они протискивались в узкую дверь. Потом, провожаемые завистливыми взглядами, чинно, не толпясь, стали заходить счастливые обладатели входных билетов, розданных вчера канцелярией председателя. Последним вошел сухонький, хилый старичок в цилиндре — петербургская знаменитость, присяжный поверенный Пассовер. В правой руке у его была тросточка с серебряной рукояткой в виде женской головки с распущенными волосами, а в левой он держал огромный, не по

росту, портфель. Его провожал почтительный шепот толпы.

Обвиняемый важно сидел на монументальной скамье подсудимых, рассчитанной, судя по ее размерам, на многолюдную шайку преступников. Напротив на специальных скамьях с видом жрецов восседали присяжные, числом двенадцать: три известных и девять не известных еще вчера и сегодня — увы, слишком поздно! — ставших известными подсудимому.

По правую и левую сторону судейского стола высились пюпитры прокурора и защитника. Усатый судебный пристав в белых перчатках строго посматривал на притихший зал, заполненный до отказа.

Пока длился допрос свидетелей, суетливость проявлял один лишь прокурор. Он спрашивал и переспрашивал, с аффектацией просил председателя занести в протокол полученные ответы, бросал на защитника победоносные взгляды. И в самом деле, свидетели-рыбаки, напуганные непривычной обстановкой и строгим председателем, в один голос признавали, что Вальяно много раз нанимал их перевозить контрабанду на турецких фелюгах.

— Да, на фелюгах, — подтверждал, вздыхая, и сам Вальяно.

Что касается Пассовера, то, к удивлению всех присутствующих, ожидавших, что приезжая знаменитость станет сбивать и путать свидетелей, он упорно молчал. С равнодушным видом откинувшись на спинку стула, адвокат скучающе посматривал по сторонам; моментами казалось, что он вот-вот заснет. На вопросы председателя: «Не имеете ли, господин защитник, спросить свидетеля?» — он, вежливо приподнимаясь, неизменно отвечал:

— Нет, не имею.

Раз или два в публике перехватили при этом недоумевающие взгляды председателя, которыми он обменивался с членами суда. Однако дело шло своим чередом, судебная машина катилась по рельсам без толчков и остановок.

Вот уже начал обвинительную речь прокурор.

— Господа судьи, господа присяжные заседатели, — заметно волнуясь, сказал он, — доказано ли, что подсудимый Вальяно систематически перевозил на турецких фелюгах ценную контрабанду? Да, доказано!

В дальнейшем прокурор исчерпывающе обосновал этот решающий тезис обвинения. Надо было отдать ему справедливость — его трехчасовая речь выглядела как хорошо построенная теорема: а)

груз прибывал в адрес Вальяно; б) не оплаченный сборами груз перегружался на фелюги; в) груз на фелюгах подвозился к подкопу в дом Вальяно. Значит, Вальяно — контрабандист. Теорема доказана, садитесь, подсудимый, на три месяца в тюрьму и выкладывайте на стол двенадцать миллионов рублей. Присяжные внимательно и с явным сочувствием слушали обвинителя. А трое подкупленных являли вид неподкупности. Зритель, напрактиковавшийся в предугадывании решений присяжных, мог бы на этот раз не слишком напрягать свой талант: будущий обвинительный вердикт был написан на посуровевших лицах заседателей.

— Слово предоставляется защитнику подсудимого Вальяно, господину присяжному поверенному Пассоверу!

Председатель с опаской покосился на «этого выжившего из ума старичка»: может быть, он и на этот раз смолчит?!

Но нет! Пассовер поднялся, едва видимый за высоким пюпитром. Фалдочки фрака смешно свисали с его чересчур низкой талии.

У «старичка» неожиданно оказался звучный, хорошо, как у певца, поставленный голос, сразу заставляющий слушателей насторожиться. Впрочем, по сравнению с прокурором защитник был

необычайно краток. Говорил он минут пять-шесть, не больше:

— Вальяно ввозил товары, не оплаченные сборами, на турецких фелюгах? Да, господин прокурор это блистательно доказал, и я, защитник, опровергать эти действия подсудимого не собираюсь. Но составляют ли эти действия преступление контрабанды, вот в чем вопрос, господа судьи и господа присяжные!

Тут Пассовер сделал чисто сценическую паузу «торможения», и все, затаив дыхание, замерли. Прокурор заметно побледнел. Пассовер поднял глаза к потолку и, точно читая на пыльной лепке ему одному видимые письма, процитировал наизусть разъяснение судебного департамента сената с исчерпывающим перечислением всех видов морской контрабанды: лодки, баркасы, плоты, шлюпки, яхты, спасательные катера.

Упоминались в качестве средств для перевозки контрабанды даже спасательные пояса и обломки кораблекрушения, даже пустые бочки из-под рома, но о турецких плоскодонных фелюгах не упоминалось!

— Между тем, господа судьи и господа присяжные, — с вежливым вздохом по адресу обомлевшего прокурора сказал затем Пассовер, — вам хорошо известно, что разъяснения

правительствующего сената носят исчерпывающий, да, именно исчерпывающий характер и распространительному толкованию не подлежат. А поэтому... Он чуть-чуть повысил голос.

— ...поскольку подсудимый Вальяно перевозил свои грузы, на чем особенно настаивал господин прокурор, именно на турецких фелюгах, а не в бочках из-под рома, например, в его действиях нет, с точки зрения разъяснения сената, признаков преступления морской контрабанды, и он подлежит оправданию.

Перед тем как сесть, Пассовер в наступившей мертвой тишине добавил совсем смиренно:

— А если бы вы, господа, — чего я не могу допустить, — его не оправдали, ваш приговор все равно будет отменен сенатом, как незаконный и впавший в противоречие с сенатским разъяснением.

— Вам угодно реплику? — спросил прокурора ошеломленный председатель («Он чертовски прав, как я мог забыть это разъяснение?!»).

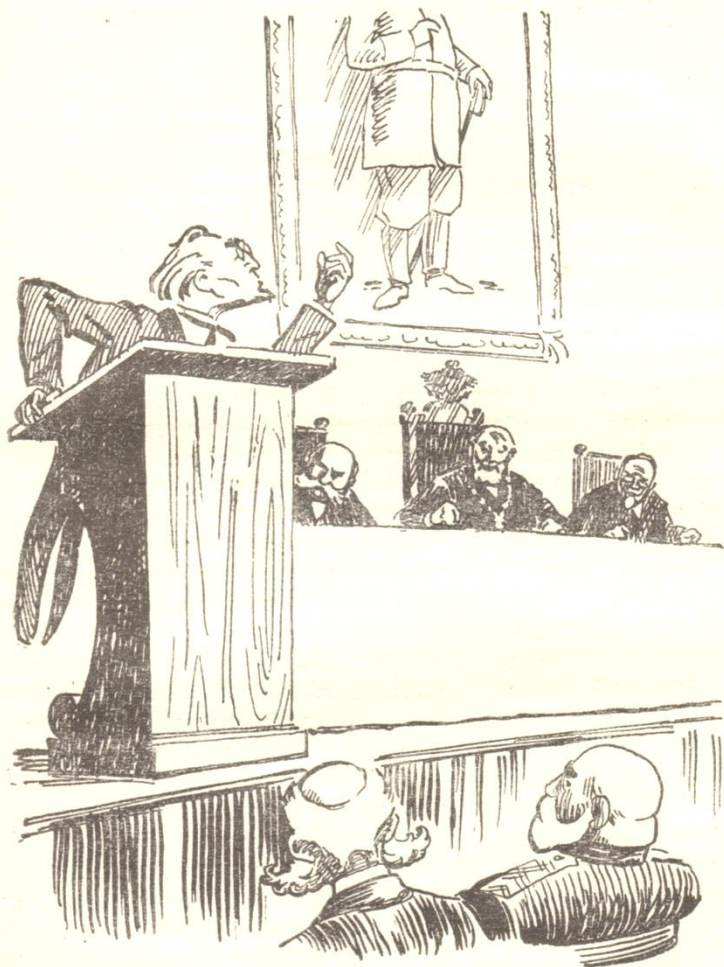
Бледное лицо прокурора залилось краской. Он вскочил и почти закричал дрожащим голосом:

— Вальяно — контрабандист! Если бы он им не был, он бы не мог заплатить своему защитнику миллион рублей за защиту!

В зале ахнули. Миллион рублей? Неслыханная цифра! Пятьдесят тысяч за уголовную защиту считались огромным, рекордным гонораром. Но миллион... Никто никогда и не слыхивал о подобном куше. Миллион рублей! Эта цифра оглушила, загипнотизировала весь зал. Председатель суда, уже готовивший в уме «краткое напутственное резюме» присяжным о неизбежности и даже, так сказать, неотвратимости оправдания, вдруг заколебался. Его малоподвижное воображение было захвачено волнующим словом «миллион». «Интересно, если золотом, сколько это будет пудов? Ах, каналья!..»

— Теперь адвокату — крышка, — свистящим шепотом сказал соседу сидевший в первом ряду отставной генерал с багровым лицом.

Но видавший виды адвокат держался бодро. Он еще не признал себя побежденным, он уже снова у пюпитра. Позвольте, но что он говорит?



— ...Тут прокурор заявил, что я получил за свою защиту миллион рублей, — раздался звонкий, молодой голос адвоката. — По этому поводу я должен сказать...

И — снова пауза. Черт возьми, можно ли так играть на нервах!

— ...я должен сказать, что это — сущая правда. Я действительно получил за свою защиту миллион рублей.

В зале пронесся вздох. Многим показалось — они потом клялись в этом друг другу, — что маленький, сухонький старичок, стоявший у пюпитра защиты, вдруг стал расти, расти, и седая голова его с жидкой бороденкой уже упиралась в потолок. И не голос, а звериный рык потрясал своды судебного зала:

— Да, я получил миллион. Значит, так дорого ценятся мои слова! А теперь посчитаем, сколько же стоят слова прокурора.

Тут Пассовер заговорил ласковой скороговоркой, как добрый учитель, задающий нарочито легкую задачу, и все вновь увидели, что у пюпитра и в самом деле лишь небольшого роста пожилой человек, кажется очень добродушный, — и вздохнули свободнее.

— В год прокурор получает три тысячи шестьсот рублей, — высчитывал вслух

«добродушный» адвокат, — в месяц — триста, стало быть, в день, в том числе и сегодняшний день, — рублей десять. Произносил прокурор свою речь сегодня три часа, сказал за свои десять рублей сорок пять тысяч слов — сколько же стоит слово прокурора?

Пассовер вытянулся и крикнул:

— Грош цена слову прокурора!

От оглушительного хохота, казалось, сейчас обрушится потолок. На скамьях люди корчились от смеха, все более усиливающегося из-за комичных попыток прокурора: он яростно жестикулировал, открывал и закрывал рот — видимо, произносил горячую речь, но ни одного слова в общем шуме не было слышно. Казалось, прокурор беззвучно пародировал мимикой и жестами какого-то неудачливого оратора. Председатель, давясь от смеха, тщетно звонил в колокольчик. Пассовер сидел с безучастным видом, поглядывая на часы. Какой-то даме стало дурно, судебный пристав выводил ее из зала, держа за талию растопыренной пятерней в белой перчатке.

Когда порядок был наконец восстановлен, прокурор, сбиваясь, с трясущимися губами, потребовал занесения в протокол «циничной выходки» адвоката. Однако председатель решил, что если уж сам Пассовер признал получение

миллиона, цифры гомерической, то, значит, все враки.

— Не вижу никакого цинизма, господин прокурор, в приведенной справке о получаемом вами окладе содержания. Прошу быть осторожнее в выражениях!

— Но... — нервничая, запротестовал прокурор.

— И прошу не вступать со мной в пререкания! — прикрикнул на него председатель и подумал со злорадством: «Профукали вы дело, молодой человек. Выше разъяснения сената не прыгайте! Да, не прыгайте-с».

...Через час из зала суда Вальяно уходил оправданным.

— На фелюге выплыл, — едко сказал молодой человек в форме преподавателя гимназии.

* * *

После блистательного взлета Вальяно конец его кажется особенно печальным.

Отбив попытку посадить его в тюрьму и лишить миллионов, нажитых контрабандой, Вальяно вдруг охладел к ввозу в Таганрог лионских шелков и коньяка марки «Мартель». Не охватило ли контрабандиста раскаяние? И не раскаялся ли одновременно в своем бескорыстии прокурор, убедившись в тщете бескорыстия?..

С этим моментом совпало удивительное увлечение миллионера заграничными папиросами, тем более удивительное, что заграничные табачные изделия оплачивались очень высокими пошлинами и что Вальяно эти пошлины безропотно уплачивал. Импортеру французские папиросы обходились вдвое дороже русских, а русские, как всем было известно, с полным основанием считались лучшими в мире. Какой же смысл было выписывать из Парижа штабеля ящиков с коробками парижских папирос?

Слов нет, таких толстых и длинных мундштуков не встречалось в изделиях российских табачных фабрикантов, по разне толщина папиросы и есть ее качество?

А купец первой гильдии Вальяно, раздобревший и растолстевший, продолжал получать в трюмах заграничных пароходов красивые ящики с маркой парижской табачной фирмы и по-прежнему безропотно оплачивал пошлину, делавшую явно невозможной всякую наживу.

К тому же никто не видел даже и попытки Вальяно сбыть дорогой товар. Он не продал ни одной папиросы из полученных сотен тысяч! И — о странность! — пустые ящики из-под папирос то и дело вывозились из портового склада Вальяно на

лесопильный завод братьев Еракари. А куда девался груз?

— Он отсылает папиросы в подарок царю, — предполагали одни. Другие глубокомысленно намекали, что Вальяно придерживает папиросы, так как ему-де известно, что скоро будет война с турками. Вот когда он начнет продавать по двойной цене свои папиросы!

И вдруг все объяснилось самым неожиданным образом.

Однажды стивидор (грузчик) Петька Гусак, прозванный так за длинную шею, напился сверх обычной своей нормы, которая была значительно выше среднечеловеческой нормы в стране, и с ним случился при выгрузке с парохода заграничных папирос неслыханный для стивидора позор: он уронил ящик. Из расколовшегося ящика вывалились изящно упакованные картонные коробки. На мостовую густо посыпались белые папиросы, точно снег.

— Тю! — закричали стивидоры, выразившие этим исконно таганрогским выкриком насмешку над опростоволосившимся коллегой. — Тю на тебя!

И без того расстроенный Петька в бешенстве топтал тяжелыми, как крейсер, сапогами проклятые папиросы, которых — он знал — ему никогда не забудут насмешливые и острые на язык стивидоры.

И все увидели, что из поврежденных мундштуков вылезли сторублевки!

Уже через час всем в Таганроге стало известно, что бывший контрабандист Вальяно долгое время получал и сбывал фальшивые «катеринки». Началось было против Вальяно новое дело, но движения оно не получило. Оказалось, что никто из стивидоров видом не видывал расколовшегося ящика с папиросами. Такое запечатывание случайно совпало с переходом Петьки и некоторых его товарищей по ремеслу в новые собственные домики на окраине города. А бывший недруг Вальяно, бескорыстный прокурор, тоже по случайному совпадению, тогда же приступил к возведению двухэтажного особняка на главной улице.

Больше Вальяно папирос из-за границы не получал и вскоре умер, отравившись осетриной. Его капитал к этому дню составлял шестьдесят миллионов рублей. Таганрожцы гадали: кто же унаследует огромное богатство Вальяно?

Тут-то и оказалось, что в дни его туманной юности им был брошен в Греции сын Коста, ныне торговец губками и кораллами в Афинах. Все это стало известным со слов таганрогского греческого вице-консула Диамантиди, к которому, оказывается, неоднократно, но тщетно обращался Коста с

просьбой добиться от отца субсидии. Этот же Диамантиди и телеграфировал Коста о смерти Вальяно.

Молодой наследник миллионов купил в долг приличный костюм и зафрахтовал в кредит пароход, показав в обоих случаях телеграмму вице-консула. Коста прибыл в Таганрог на зафрахтованном судне, стареньком грузовом пароходике, и первый день посвятил оформлению своих наследственных прав. Затем он обратился к выполнению сыновнего долга.

Уже назавтра цинковый гроб с останками миллионера был погружен на пароход, и молодой, полный сил торговец губками, тщетно пытаясь изобразить скорбь на пышущем радостью лице, стал в театральную позу у гроба.

— Я похороню отца на земле предков! Это был лучший из отцов! — заявил на плохом французском языке Коста сотруднику «Таганрогского вестника», вечному студенту, подписывающему свои критические заметки псевдонимом «Зуб», а похвальные — «Кристалл». Бедняга явился на пароход в надежде заработать рубль за интервью. Он не понимал по-французски, но понимающе кивал головой и говорил: «Вуй, вуй». Интервью явно не получилось.

Вскоре хриплый гудок траурно прокричал три раза, пароход стал отваливать, держа курс к родным греческим берегам.

Как ни почтенна была задача, она оказалась невыполнимой. Когда пароход подошел к берегам Греции и команда стала выносить по сходням цинковый гроб, местные усаые греки неожиданно подняли бунт и заставили матросов завернуть обратно.

— Миллион драхм, или везите эту падаль назад! — кричали разъяренные греки. — Живым этот дьявол не пожертвовал нам ни одной драхмы. Пусть раскошелится хоть мертвым!

Коста велел поставить гроб на прежнее место на палубе. Ночью тихо и незаметно он попытался снести контрабандой гроб с мертвым контрабандистом, но оказалось, что на берегу засели неумолимые пикеты.

Трижды Коста повторял попытки и днем и ночью, но толпа бездельников, которых всегда много в южных портах, крепко блокировала пристань. От оборонительных действий люди явно собирались перейти к наступательным. Кое-кто уже пытался перепрыгнуть с яликов на борт парохода. Положение становилось тревожным. Тогда Коста, твердо решивший не тратить денег попусту, скомандовал развести пары, и вскоре пароход с

печальным грузом отчалил от стенки порта. Когда очертания берегов стали смутными, Коста выругался на все четыре моря и собственноручно сбросил цинковый гроб в воду.

История Вальяно мне стала известна, во-первых, из устных таганрогских преданий, во-вторых, из подробного рассказа моего отца и, в-третьих, из воспоминаний Кони — адвокат Пассовер предлагал ему защищать вместе с ним контрабандиста Вальяно.

«При этом, — писал Кони, — на мое заявление о том, что должность несменяемого судьи дает мне хоть и скромное, но верное ежегодное обеспечение в пять тысяч рублей, он сказал, что то же предложит и Вальяно.

— Но ведь это единовременно, а тут я обеспечен ежегодно, — сказал я, продолжая избегать указывать адвокату на несимпатичные мне стороны адвокатуры как служения частному интересу.

Пассовер сделал удивленные глаза, потом рассмеялся и сказал мне с расстановкой:

— В день подписании условия о принятии на себя защиты я уполномочен вручить вам чек на сто тысяч. Это и есть ваши пять тысяч ежегодно!» («Избранные произведения А. Ф. Кони», издание Госюриздата, Москва, 1956, стр. 637). Об этом читал

я также во французских газетах «Фигаро» и «Матэн» за 1904 и 1905 годы. Обе эти газеты выписывала и давала мне читать и переводить моя преподавательница французского языка мадам де Перль, о которой я подробно рассказываю в новелле «Номер «Правды».

О дальнейшей судьбе богатства Вальяно я не знаю.

Дуэль

Савелий Адольфович Гинцберг был магистром фармации.

Если бы он учился не в Юрьевском, а в другом русском университете, ему после трехлетнего курса присвоили бы будничное звание провизора. Но в Юрьевском (Дерптском) университете были в ходу средневековые мантии, дуэли на рапирах и старинные пышные звания. В дипломе (написанном по-латыни) Савелий Адольфович именовался магистром фармацевтических наук. С его прибытием в Таганрог здесь появился первый и последний магистр.

Савелий Адольфович был очень горд доставшимся ему ученым званием и оберегал его от насмешек. Особенно он ожидал их от местных врачей. Врачи прибывали к своим дверям медные дощечки с фамилией и часами приема и именовались все как один — докторами. Доктор медицины — это выше, чем магистр. Но ведь в городе на самом деле не было ни одного доктора медицины, все они — жалкие лекари, ибо именно таково было официальное звание окончившего медицинский факультет! Это — самозванство! А Савелий Адольфович почему-то должен был

страдать от заносчивости самозванцев: лекари, именующие себя докторами, смотрели на подлинного магистра сверху вниз — какова наглость!

Приходилось осторожно, исподволь оберегать свое звание от недругов и завистников. Потомок древних ливонских рыцарей-крестоносцев, Савелий Адольфович делал это методически и настойчиво. Он никогда не забывал, что он магистр, и старался по возможности не давать другим забыть об этом.

Увы! Скрепя сердце он вынужден был порой терпеливо сносить шутки самозванных докторов: магистр фармации всецело зависел от их расположения. Дело в том, что ему принадлежала лаборатория медицинских анализов. Правда, помимо этого, магистр был изобретателем. Мыло «Самостирка» и крем против веснушек «Велюр» приготавливались в его лаборатории по особым рецептам, запатентованным в министерстве. И мыло и крем брезгливые таганрогские дамы покупали туговато, хотя изобретатель, вопреки всем сплетням, пользовался вполне благопристойным сырьем.

Савелий Адольфович жил на тихой Полицейской улице, которой впоследствии присвоили имя Антона Павловича. В описываемые дни Чехов был еще жив: прошло только две недели

с того дня, когда он в последний раз побывал в Таганроге.

Накануне отъезда Антона Павловича к нему в гостиницу пришел познакомиться Савелий Адольфович. На нем был новый чесучовый пиджак, рубашка с высоким отложным воротничком и пышный галстук в розовую горошинку. Утром он постригся ежиком, парикмахер придавил его белесые волосы круглой щеткой, жесткой, как каток. Тощее бритое лицо его с глазками цвета балтийской волны выражало любопытство.

— Магистр фармации Гиниберг, — представился он, самоуверенно пожимая руку Чехову («В конце концов, тоже ведь только лекарь!»).

— Савелий Адольфович уверен, что магистр — это почти доктор, — насмешливо заметил присутствовавший тут дерзкий шутник врач Зеленский.

— Это, несомненно, так и есть, — серьезно сказал Чехов.

Вероятно, на том бы и кончилась шутка, но совершенно неожиданно заговорил другой гость — вечно молчавший доктор Иванов. Пепельные усы его зашевелились. Он, к удивлению Зеленского, отрывисто засмеялся и сказал:

— Еще бы!

Этого выпада Гинцберг ему не мог простить. Иванов, молчальник! Заговорила Валаамова ослица!

Андрей Осипович Иванов был человек маленького роста, державшийся необыкновенно прямо. «Точно пол-аршина проглотил», — говорил о нем Зеленский. Личико у Иванова было маленькое, почти наполовину занятое отвислыми пушистыми усами. Пациенты считали его замечательным врачом и даже молчаливость его воспринимали как печать мудрости.

Если бы на страшном суде Иванова спросили, что он делал здесь, на грешной земле, он ответил бы, вероятно:

— Молчал!

Иванов молчал и слушая бесконечные монологи своей говорливой жены, и выписывая рецепты пациентам. А если уж по необходимости приходилось говорить, он произносил одно лишь слово. Только одно!

Тот же Зеленский утверждал, что однажды Андрей Осипович час просидел молча у постели больного, лежавшего в сердечном припадке, и наконец, пощупав пульс, сказал:

— Кончается...

Когда плач и стенания родственников немного унялись, Иванов раздул усы и произнес еще одно слово:

— ...припадок!

Стало быть, кончался не больной, а припадок.

И вот этот-то лекаришка унизил, оскорбил подлинного магистра и дворянина, в чьих жилах текла кровь остзейских баронов.

Иванов сказал: «Еще бы!», и притом сказал в присутствии писателя, о котором местная газета «Таганрогский вестник» писала как о «довольно известном авторе занимательных рассказов». Правда, Гинцбергу было недосуг прочесть рассказы Чехова. По мнению магистра, этому художнику и болезненному лекарю, наверно, было очень далеко до Льва Толстого, которого, впрочем, Гинцберг тоже не читал. Но одно дело — шутки в своей компании, а совсем другое — в присутствии постороннего, к тому же лекаря, то есть исконного и прирожденного врага всех магистров!

Савелий Адольфович ушел, еле простившись. В душе его бушевала буря. Черт возьми! Ему бы очень хотелось сказать всему свету — а Иванову в первую голову — что-нибудь злое, остроумное, уничтожающее, но на память приходили только ругательства.

Выйдя на улицу под тень каштанов, Гинцберг заломил котелок и, пригрозив тощим кулачком, прошипел по адресу Иванова:

— Фараон несчастный!

На таганрогском уличном языке «фараон» обозначало: гуляка, буян и драчун (между тем как повсеместно в России слово «фараон» было насмешливой кличкой блюстителей порядка — городских).

Гинцберг с испугом огляделся по сторонам: не слышал ли его кто-нибудь? Но улица была пустынна, и только на дальнем углу виднелась согбенная фигура старушки семечницы, сидевшей под зонтиком на раскидном стуле.

Прошло две недели, а буря в душе Савелия Адольфовича не утихла. Злой демон-искуситель, доктор Зеленский, изнывавший от жары и скуки, неустанно подливал масла в огонь.

— Дорогой коллега, — говорил он, дружески обняв Гинцберга за талию, — этого нельзя так оставить. Он оскорбил не вас, а вашу альма-матер!

Гинцберг скрежетал зубами.

— Если вы не потребуете сатисфакции, Чехов пропишет вас во всех газетах как труса, — рубил уже сплеча Зеленский, заметив, что магистр начинает выходить из себя. — Такие оскорбления смываются только кровью!

Зеленский не поленился притащиться в августовскую жару на квартиру к Гинцбергу. Было три часа дня — время, когда таганрогские

обыватели, плотно пообедав красным борщом с помидорами (здесь они назывались «красненькими») и закусив арбузом и дыней, спали в духоте за наглухо закрытыми ставнями: больше всего на свете таганрожцы боялись сквозняков! На длинной и прямой Полицейской улице, одним концом упиравшейся в обрывистый морской берег, а другим — в пыльную площадь, где казачий полк производил учения, не видно было ни одного прохожего. Проехал, громяхая по мостовой железными колесами тачки, мороженщик, лениво покричал: «Сахарно морожено!» — и точно растаял вместе со своей ледяной кадкой в неподвижном знойном мареве. Пожарный, обычно дежуривший на каланче, и тот исчез, точно провалился.

Друзья ходили взад-вперед по крашенному под паркет полу крохотного «зала» одноэтажного особняка, благоприобретенного год назад Гинцбергом. В соседней комнате похрапывала Авдотья Павловна, пышная невенчанная жена Савелия Адольфовича, официально числившаяся в экономках.

— Оскорбление смывается только кровью, — уже заскучав, повторил Зеленский и опустил в кресло. «Такой сморчок, а отхватил себе кралю», — подумал он, невольно прислушиваясь к могучему храпу.

Тонкий золотистый луч солнца скользнул в неплотно прикрытые ставни и зыбким зайчиком заиграл на стене. В ту же минуту кто-то с улицы забарабанил в окошко. Савелий Адольфович рывком открыл окно и ставни.

На тротуаре стояла босоногая девочка лет одиннадцати. Протягивая аккуратно завернутую в газету бутылку, девочка затараторила:

— От доктора Иванова для больного. Велели срочно обследовать, чтоб к вечеру готово было...

Поблескивая серыми плутовскими глазами, девочка хотела продолжить неправдоподобно многословное для Иванова наставление. Но внезапно язык ее прилип к гортани. Резким движением Гинцберг выхватил бутылку и швырнул на мостовую. Небольшая янтарная лужица заискрилась на солнце.

— Вот мой ответ лекарю Иванову! — голосом, сдавленным от волнения и жажды мщения, воскликнул Гинцберг и захлопнул ставни.

— Вы молодчина, — сказал, оживившись, Зеленский. — Итак, вы меня уполномочиваете?

Он не договорил, а Гинцбергу стало не до того. Уже не слушая, он утвердительно кивнул головой и погрузился в горестные размышления: что будет, если вслед за Ивановым и другие врачи начнут посылать своих пациентов не к нему,

Гинцбергу, а в лабораторию грека-пьяницы Иоаннидиса?

Взволнованный Савелий Адольфович и не заметил, как ушел его гость.

Размышляя, кого подыскать секундантом для Иванова на предстоящей дуэли, Зеленский без колебаний остановил свой выбор на классном надзирателе Вукове. Впереди была нелегкая задача договориться с великим молчальником Андреем Осиповичем; «дипломат» и «Депутат» Вуков окажется здесь на высоте!

К девятисотым годам Павел Иванович Вуков был уже далеко не молод, но по-прежнему строен и щеголеват.

Острая бородка и закрученные вверх прокуренные усы были с легкой проседью, светлые волосы кудрявились у висков. Гимназисты утверждали, что Вуков завивается у театрального парикмахера Плескачева, причем бесплатно, так как сын Плескачева, Федя, учился в гимназии и был подопечен Павлу Ивановичу.

В молодости Вуков был дамским кумиром. К старости, когда дамский круг поредел, Павел Иванович сделался скромником.

Впрочем, если разговор с гимназистами-старшеклассниками происходил на улице и мимо проходила, потупив взор и шурша шелком пышных

юбок, молодая гречанка с матовой кожей лица и тонким, изящно очерченным носиком, Вуков прерывал разговор и, закатывая глаза, хрипел вслед гречанке: «Сас агапо!» — это значило по-гречески: «Я вас люблю!»

Гимназисты дружно гоготали, гречанка ускоряла шаги, уронив на ходу презрительно: «Фаравия», а Павел Иванович, радуясь своему остроумию и популярности среди молодежи, смеялся, показывая большие, желтые, как у старой лошади, зубы.

Да, Павел Иванович был незаменим для нелегкой роли, которую уготовил ему Зеленский!

Убийственная провинциальная скука толкала его под руку.

«Грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен Таганрог, — писал Чехов Лейкину, — настоящая Азия... шестьдесят тысяч жителей занимаются только тем, что едят, спят, плодятся, а других интересов — никаких. Нигде ни газет, ни книг».

Зеленскому едва минуло тридцать лет, но он решительно не видел, чем себя занять. К врачебной практике был равнодушен, в карты не играл, к водке пристраститься не успел. Доктор выписывал журнал «Мир божий», и раз в месяц его досуг был заполнен.

От скуки Зеленский ходил иногда в театр и приударял за хорошенькой «инженю». А дальше?



Дальше была та же томящая скука. И вот Зеленский решил позабавить себя представлением, которое казалось ему очень остроумным и в котором главные роли он поделил между двумя общепризнанными чудаками.

Павел Иванович согласился участвовать в деле неожиданно легко, точно всю жизнь только и делал, что участвовал в дуэлях. Встреча произошла в так называемой Ротонде — в павильоне-клубе городского сада, за водочной стойкой буфета.

Как хорошо знал буфетчик Арутинов, Павел Иванович пил водку «на аршин».

— Налей-ка, братец, пол-аршина, — говорил он буфетчику, и тот, не моргнув глазом, выстраивал на стойке рюмки в ряд, вытаскивал из-под стойки

складной аршин и вымерял ровно пол-аршина. Придирчиво проверив правильность замера, Павел Иванович выпивал одну рюмку за другой и, опорожнив всю шеренгу, говорил чуть охрипшим голосом: — А закуска?

Флегматичный бородатый толстяк Арутинов молча брал с подноса двумя пальцами крохотный кусочек хлеба, намазанный кавьяри (так называлась в Таганроге икра). Вуков съедал «закуску» и отходил, бросив небрежно:

— За мной.

Арутинов только вздыхал.

На этот раз какая-то муха укусила Арутинова. Лицо его покраснело, он в раздражении ударил ногой клубного кота Фемистокла. Фемистокл от неожиданности и обиды взвыл страшным голосом.

— Зачем — за тобой? Где — за тобой? — сердито спросил буфетчик. — Всегда — за тобой. Хочу, чтобы было за мной!

В буфет вошел толстый инспектор гимназии Лонткевич, человек с наружностью Фальстафа. Устремив взор на стойку с водкой, он на ходу, колыхая огромным животом, сладострастно потирал руки, для чего ему приходилось далеко протягивать их в обход живота. За инспектором со скупающим лицом плелся Зеленский, обошедший весь сад в

поисках Вукова. Увидев Павла Ивановича, Зеленский хотел было сказать: «Вас-то мне и надо», но заметил сердитое лицо буфетчика и крайне смущенный вид «дипломата», совсем растерявшегося в присутствии инспектора.

— Не хочу — за тобой, хочу — за мной! — повысил голос Арутинов, смекнувший, что момент подходящий.

Инспектор грозно уставился на Вукова.

— Кстати, Павел Иванович, — поспешно сказал Зеленский, доставая бумажник, — я ведь, кажется, вам задолжал... вот не помню только, сколько именно?

Зеленский вопросительно посмотрел на буфетчика.

— Восемнадцать рублей сорок копеек! — ответил без запинки буфетчик.

Зеленский, улыбнувшись, дал Вукову две десятки и одну пятерку. Это могло быть щедростью или платой за услугу. Вуков пятерку ловко, как фокусник, сунул в карман, а две десятирублевые величественно бросил на стойку со словами:

— Сдачи не надо.

Инспектор хотел, кажется, что-то сказать, но буфетчик уже наливал ему большую, с вензелем рюмку. Инспектор облизнулся и взял рюмку за тонкую ножку.

— А вы — арап, Павел Иванович, ей-богу, арап, — тихо смеясь, сказал Зеленский Вукову, когда они вдвоем вышли из Ротонды на широкую аллею сада.

Редкие газокалильные фонари на высоких столбах плохо освещали деревянные скамьи с тесно сидевшими парочками. Совсем рядом раздавались бравурные звуки «Тореадора»: городской оркестр под управлением превосходного музыканта, обрусевшего итальянца Молла, заканчивал свою вечернюю программу. В воздухе приторно пахло ночной фиалкой...

— А шо я должен делать? — послушно спросил Вуков...

* * *

Андрей Осипович Иванов жил в двухэтажном доме в Итальянском переулке. Двухэтажных домов в городе было немного; их построили в самые последние годы разбогатевшие владельцы хлебных ссыпок. Все эти дома были «доходными», то есть строились, в отличие от остальных таганрогских жилых домов, не для хозяев, а для сдачи внаем. «Доходные» дома выглядели неуютно и безвкусно. Окна были узкие, двери — хилые и плохо прикрывались...

Каждое первое число Иванов протягивал жене пачечку денег и говорил одно только слово:

— Квартира.

Так как по опыту жена знала, что следующее слово ее Андрюша скажет только к вечеру, она отводила душу в длинном и безнадежном монологе о пользе собственного дома. Андрей Осипович читал газету или пил холодный чай.

— Раньше он не был такой бесчувственный, — вздыхая, говорила соседкам докторша. — Студентом он и песни пел, и речи говорил... Ей-богу, говорил! — божилась она, заметив недоверие на лицах женщин. — А пожил в Таганроге с десяток лет и замолчал. Не нравится ему, вижу, не нравится, а что — не говорит. По ночам не спит, вздыхает, а не говорит!

Соседки сочувственно кивали головами и проникались к загадочному для них явлению — человеку, не любящему поболтать. — еще большим уважением.

Сегодня Андрей Осипович закончил прием больных часам к семи вечера. Перебывало у него человек пятнадцать, но, когда жена, но обыкновению, зашла к нему в кабинет, чтобы взять со стола «выручку», она нашла около чернильницы только две рублевые бумажки и рубль серебром. Это было все. Очевидно, большую часть пациентов Иванов, по обычаю своему, отпустил, не взяв с них денег.

Андрей Осипович сидел за хромоногим столом, закрывшись от жены и, казалось, от всего мира газетным листом. Жена решилась было высказать ему кое-какие горькие истины, но в этот момент внизу позвонили, и она поспешила на звонок, лелея в душе надежду, что вот пришел наконец богатый пациент, который заплатит за визит пять рублей...

— Можно к вам?

На пороге кабинета стояли доктор Зеленский и Вуков. У обоих был торжественный и подтянутый вид. Зеленский, несмотря на жару, был в перчатках. Вуков держал на отлете цилиндр, который он в последний раз надевал десять лет назад на похоронах директора гимназии.

Перчатки и цилиндр, видимо, не произвели на Иванова никакого впечатления. Чуть наклонив голову, он спокойно смотрел на посетителей.

— Вместе? — спросил он.

— Именно вместе, — с некоторым задором ответил Вуков и, сделав два шага на своих длинных и тощих ногах, опустился на стул у письменного стола. Цилиндр он со стуком поставил на пол донышком вниз.

Зеленский сел на стул рядом.

— Андрей Осипович, — начал Павел Иванович крадчивым голосом, тем самым,

которым уговаривал третьеклассников выдать ему «зачинщика», — вы знаете, как я вас обожаю...

Иванов слегка раздул усы, но промолчал.

— Для вас я на все согласен! — патетически воскликнул Вуков и сделал движение, чтобы сплюнуть через губу, но вовремя удержался. — На все! И можете не робеть, вашим секундаторм буду я.

— Секундантом, — поправил Зеленский.

— Зачем? — спросил Иванов.

— Затем, — загорячился Зеленский, — что вы слишком много нелестного говорите о магистре фармации Гинцберге!

«Слишком много говорите» в применении к всегда молчавшему Иванову звучало несколько комично. Но Иванов не улыбнулся. А Зеленский, распаяясь все больше и уже забыв, что историю с дуэлью он сам же и придумал, говорил дрожащим голосом:

— Такие оскорбления смываются только кровью! Он вызывает вас на дуэль!

— Дурак! — спокойно сказал Иванов.

— Кто? — спросил, бледнея, Зеленский. Иванов молчал.

Вуков вскочил и поддернул брюки. Он был «дипломат», и он должен был не допустить нового кровопролития!

— Шо ви делаете! — закричал он с высоты своего трехаршинного роста на маленького усатого доктора, точно перед ним была стайка перепуганных «мартышек» из первого класса. — Ви ругаетесь, как стивидор!

Андрей Осипович встал и, раздув усы с такой силой, что, казалось, они вот-вот полетят сейчас за окно, произнес:

— Прощайте!

— Хорошо, — ответил, задыхаясь, Зеленский, — хо-рошо-с!

Уже внизу Вуков крикнул зычным голосом, привыкшим перекрывать многоголосый нестройный шум «большой перемены»:

— Значит, вы отказываетесь?

Сверху донесся спокойный голос Иванова:

— Нет.

— Слава богу, хоть не отказывается, — прошептала на кухне его жена. Она почему-то вообразила, что эти важные господа приехали приглашать Андрея Осиповича занять место гимназического врача.

* * *

Все дуэли описываются таким образом: сначала в условленное место приезжает один из дуэлянтов и долго с обидой ждет, пока появится второй, обязательно верхом на горячем англо-арабе.

Но тут случилось так, что три извозчичьи пролетки одновременно выехали на широкую аллею, которой начиналась расположенная в трех верстах от города дубовая роща.

По преданию, «Дубки» были насажены Петром Первым. Таганрожцы особенно гордились вниманием, которое не в пример другим провинциальным городкам обширной Российской империи — оказывали Таганрогу императоры и иные знатные лица...

В ранний утренний час среди царственных дубов три извозчичьи пролетки медленно ехали одна за другой, извозчики весело перекликались:

— Что, Васька, не променял мерина? Ишь, загребают правой-то!

— Это он возрадовался, что хороших ездовых везет! Рублика на чай за такого рысака не пожалеют!

В передней пролетке сидели: равнодушный Иванов в кургузом люстриновом пиджаке и нахохлившийся Павел Иванович в неизменном черном сюртуке и в белой с высокой тульей фуражке, надетой немного набекрень.

За ними ехал бледный, с трясущейся нижней челюстью потомок рыцарей Гинцберг; рядом сидел, одной рукой обняв его за талию, а другой придерживая на коленях огромный сак с

хирургическими инструментами, доктор Зеленский. Гинцберг, не отрываясь, как завороченный, смотрел на этот зловещий сак и по временам судорожно вздыхал. Его тошнило.

Процессию замыкала пролетка с тремя молодыми артиллерийскими офицерами. Младший сидел спиной к лошади на крохотной скамеечке, поставив для устойчивости одну ногу на подножку. Поручик и штабс-капитан везли длинный деревянный ящик с дуэльными пистолетами, похожий на детский гроб. Повстречавшаяся босоногая старуха нищенка, бог весть откуда ковылявшая в город, остановилась и, глядя на ящик, истоиво закрестилась.

Проезжая дорога вилась спиралью меж мощных дубов и заканчивалась широкой утоптанной площадкой. Здесь по воскресеньям пили водку, обнимались, клялись в вечной дружбе, дрались в кровь, ругались хриплыми голосами.

Но теперь, в этот ранний час, на площадке, окруженной, как часовыми-великанами, столетними деревьями, было тихо и пустынно. Кое-где в примятой траве валялась битая «казенная» посуда и яичная скорлупа. Воздух был чист и ароматен. Издали доносился тонкий свист паровоза.

— Пожалуйста, господа хорошие, доставили благополучно, — игриво сказал один из извозчиков,

молодой парень с румяным лицом и лихо заломленной фуражкой. По-видимому, возницы принимали седоков за кутил, решивших после бурно проведенной ночи допивать на лоне природы. — Гуляйте на здоровье.

Офицеры выпрыгнули из пролетки, штатские сошли чинно. Зеленский бережно свел плохо державшегося на ногах Гинцберга и, прислонив его к широкому стволу, поспешил к Павлу Ивановичу.

— Что делать с этими? — зашептал он, кивнув в сторону извозчиков. — При них невозможно.

— Гоните два рубля, — решительно сказал Вуков. Зеленский, пожав плечами, протянул ему две смятые бумажки.

— Ребята, — крикнул Вуков извозчикам, — выпейте за наше здоровье!

Кажется, одна рублевая бумажка осталась у него.

— Стало быть, разрешите на полчаса отлучиться? — обрадовались извозчики.

Павел Иванович величественно махнул рукой. Извозчики хлестнули лошадей и скрылись за деревьями. Пора было начинать. Солнце поднималось выше, на площадке стало светлее. Старшин из офицеров, усатый штабс-капитан, посмотрел на часы и отрывисто сказал:

— Стреляться так стреляться.

И почему-то подмигнул двум поручикам, которые, положив ящик с пистолетами на землю и усевшись на корточки, внимательно рассматривали оружие. Один из поручиков, взяв из ящика тяжелый длинный пистолет, заглянул в дуло и зачем-то его понюхал.

— Господа, — взволнованно сказал Вуков, — а где же барьер? Ми забили барьер!

— Зачем вам понадобился барьер — прыгать собираетесь? — с досадой спросил Зеленский, не выпуская из виду Гинцберга; бледный и потный магистр стоял, держась за дерево, и громко икал.

— На дуэли без барьера нельзя, — объяснил Вуков, — ви с ума сошли!

— Вот барьер! — пробасил штабс-капитан, проводя носком сапога неровную волнистую линию по сухой, в комьях, земле. — На сколько шагов поставим противников? Десять? Пятнадцать?

— Стрелять до результата, дистанция — десять шагов, — сказал один из поручиков и захохотал. Второй укоризненно на него посмотрел.

— Десять, пожалуй, маловато, — деловито заявил штабс-капитан. — С десяти шагов рана в живот и в грудь — смертельна. А впрочем...

Гинцберг икнул слышнее и сказал:

— Двадцать... пять.

Посоветовавшись, секунданты утвердили пятнадцать шагов. Отмерять шаги взялся штабс-капитан. Почему-то он при этом мелко семенил, как старушка в церкви, когда она подходит к кресту. Вышло, что от «барьера» до противника — рукой подать.

— Дуэлянты, по местам! — скомандовал штабс-капитан.

Зеленский уже открыл свой сак и разложил на белоснежной салфетке сверкающие на солнце инструменты. Их было очень много: маленькие и большие ланцеты, кривые ножницы и даже огромные акушерские щипцы, имевшие особенно устрашающий вид. Одним глазом Зеленский не забыл взглянуть на Гинцберга.

Потомка рыцарей на месте не оказалось. Из ближайших кустов раздавалось его жалобное бормотание:

— Я молод, я жить хочу! Разве это пятнадцать шагов? Это пять шагов!

Иванов, о котором все позабыли, сидел в стороне на пеньке и, надев очки, читал газету. Сегодня на рассвете за ним заехал Вуков, и Иванов, привычно быстро одевшись, безропотно поехал. Жена, не сомневавшаяся, что его везут к пациенту, успела ему шепнуть: «Меньше трешницы не бери, что такое!»

Он знал, что ему предстоит дуэль с малосимпатичным ему Гинцбергом, но он уже давно на все махнул рукой. Дуэль? Черт с ней, пусть дуэль! Какой-то винтик в нем развинтился, и уже давно не хотелось ни спорить, ни горячиться.

Услышав команду, он аккуратно сложил газету и спрятал в карман. Павел Иванович показал ему его место — у шашки, воткнутой острием в землю. Потом Вуков сунул ему в правую руку тяжелый пистолет и отошел.

По ту сторону барьера, у глубоко вошедшей в землю шашки с анненским темляком, штабс-капитан одной рукой придерживал у бедра пустые ножны, а другой крепко держал за плечо обмякшего Гинцберга. С другой стороны его поддерживал Зеленский и одновременно пытался всунуть ему в руку дуэльный пистолет. Рука дуэлянта висела, как тряпка.

— Держите же, черт возьми! — крикнул штабс-капитан. — Или мы вас объявим недуэеспособным.

— Савелий Адольфович, придите в себя, — умоляюще шептал ему на ухо Зеленский, — вспомните, что вы магистр! На вас сейчас смотрит весь Дерптский университет!

Гинцберг застонал и схватил пистолет. Штабс-капитан и Зеленский отошли в сторону, с опаской глядя на магистра. Однако он стоял без посторонней помощи и даже, кажется, уже стал прицеливаться в противника.

— По команде «раз» — можете приближаться к барьеру, по команде «два» — стреляйте! — пояснил штабс-капитан и поспешно скомандовал: — Раз... два!



Ударил одиночный выстрел. С криком: «Я убит!» рухнул на землю и остался недвижим Гинцберг. Иванов опускал дымящийся пистолет.

Гинцберг лежал на спине, раскинув руки, по-прежнему зажимая в правой пистолет. Глаза его были закрыты.

Павел Иванович, расставив длинные журавлиные ноги, замер на месте, выпучив глаза.

Андрей Осипович, отшвырнув пистолет, бежал к расprostertому на земле противнику. На чесучовом пиджаке Гинцберга, как раз против сердца, расплылось ярко-красное пятно. Андрей Осипович подбежал, тяжело дыша, опустился на колени перед телом магистра и приложил ухо к его груди. Потом, поднявшись, стал спокойно очищать пыль с колен.

— Жив! — сказал он отрывисто.

— Это клюква, коллега, — нервно засмеялся Зеленский и вытер со лба пот. — Признаться, зарядили мы для смеха клюквой, да я уже подумал, не вышло ли ошибки?

Со страха он сделался говорливым;

— А вы, коллега, оказывается, стрелок. Видали, господа, какой мастерский выстрел?

Гинцберг открыл один глаз, потом другой и застонал.

— Пулю уже вынули? — спросил он слабым голосом.

— Уже, — сказал Иванов, помогая магистру встать. Сконфуженный штабс-капитан услужливо поднял с земли франтовской котелок магистра и нахлобучил ему на голову.

Павел Иванович замахал показавшимся за деревьями извозчиком:

— Подавай!

Андрей Осипович посадил обморочного магистра в пролетку и, сев рядом, молча обнял его за плечи.

«Здорово господа набрались», — подумал извозчик, но деликатно промолчал, зачмокал и задвигал вожжами. Пролетка тронулась. Уже на ходу доктор Иванов повернулся и крикнул, раздувая усы:

— Дураки!

Пролетка с дуэлянтами скрылась из виду, пыль, поднятая колесами, осела, а оставшаяся компания угрюмо молчала.

— Какая скука, — процедил наконец сквозь зубы Зеленский. — Поедем, что ли?

Старец Вронди

«...где мадам Дуду... играла в пикет с учителем танцев Вронди, старцем, очень похожим на Оффенбаха».

А. П. Чехов. Рассказ «Ворона»

Рассказ «Ворона» написан Чеховым в 1885 году. И тогда уже писатель назвал танцмейстера Вронди «старцем». А спустя четверть века, в 1910 году, живучий старец, маленького роста, чернобородый и черноглазый, здравствовал по-прежнему и по-прежнему квартировал в том же доме на Петровской улице.

Подруга Вронди, мадам Дуду, умерла. Вронди жил один. Танцевальный зал в его квартире оставался таким же, как в описании Чехова:

«Войдя в залу, поручик увидел то же, что видел он и в прошлом году: пианино с порванными нотами, вазочку с увядающими цветами, пятно на полу от пролитого ликера...»

Старец Вронди, танцмейстер и тапер, обучал здесь таганрогскую молодежь светским танцам.

С силой выбивая на стонущей клавиатуре польку-бабочку, Вронди вполоборота следил из-под страшных насупленных бровей за танцующими и

певуче приговаривал, с мягким итальянским акцентом, на мотив и в такт польке:

— Раз, два, три, четыре — раз, два, три! Раз, два, три, четыре — раз, два, три!

Молодых людей тянуло к этому пианино с порванными нотами. Здесь гимназисты и гимназистки могли вдоволь поплясать, позабыть о тягостной мертвящей скуке, неприветливой гимназии и опостылевшем гимназическом начальстве, строжайше запретившем учащимся вход в квартиру танцмейстера.

Но, странным образом, именно старец Вронди неожиданно был обласкан и приближен этим самым начальством.

«Депутат» и «дипломат», классный надзиратель Павел Иванович Вуков, мягко ступая на высоких журавлиных ногах, вошел в директорский кабинет и почтительно доложил директору гимназии Михаилу Петровичу Знаменскому, что вчера вечером он снова обнаружил в танцевальном заведении Вронди девять гимназистов, ученические билеты у них отобраны.

Вот что сказано о Михаиле Петровиче Знаменском в официальном альманахе-справочнике по Таганрогу за 1911 год: «М. П. Знаменский — директор мужской гимназии, опытный

администратор, известный своим гуманным отношением к учащимся».

Слухи о «гуманном» отношении Знаменского к учащимся были явно преувеличены. Однажды случилось так, что на маевке группа гимназистов принялась качать прогрессивно настроенного преподавателя Генералова. Знаменский, бросившись на место происшествия, стал наносить ученикам удары своими костлявыми длинными руками.

Юмористический журнал «Новый сатирик» написал, что, по-видимому, директор Таганрогской гимназии Знаменский — из бывших пожарных: не может видеть, когда плохо качают.

Впрочем, Михаил Петрович Знаменский был на лучшем счету у самого министра, как ревностный охранитель устоев и не менее ревностный поклонник классического образования...

— Закрывать, — кратко, но решительно сказал директор Павлу Ивановичу, брезгливо смахнув пачку тонких книжечек в черных коленкоровых переплетах в услужливо подставленные Буковым руки.

— Отсутствуют основания, ваше превосходительство, — вкрадчиво сказал «дипломат». — Не лучше ли отторгнуть?

— Как это — отторгнуть? — удивился директор. — Кого отторгнуть?

— Учащихся, ваше превосходительство. От глетворного влияния.

— Гм-м, — неодобрительно произнес директор. — Но каким способом?

Вуков согнулся в талии, точно надломился, и зашептал директору в ухо:

— Гимназический выпускной вечер-с! А в предвидении — разрешить уроки танцев у нас, в рекреационном зале-с!

— Гм-м, — сказал директор, на этот раз весьма одобрительно. — А правда, что этот Вронди — уроженец Рима?

Все, что хотя бы отдаленно напоминало родину древней латыни, имело для Михаила Петровича Знаменского особо притягательную силу. Он расценивал людей с точки зрения познаний в латинском языке.

— Почтенный был писатель, — говаривал он о покойном Чехове, — жаль только, плоховато латинский язык знал.

Давно овдовев и не имея детей, Знаменский держался замкнуто, особняком. Часто можно было видеть в обширном гимназическом саду во время уроков высокую, костлявую фигуру директора. Чуть ссутулившись, с заложенными за спину руками, загребая и шаркая ногами, Михаил Петрович в короткой, не по росту, черной тужурке гулял по

аллеякам сада, задумавшись и шевеля губами. Наверно, в этот момент он скандировал торжественного Горация или повторял любимую строчку из обстоятельного Тита Ливия. Гимназисты, сбежавшие с урока, смело шли мимо директора, по опыту зная, что, углубленный в свои мысли, он их не окликнет.

За бритое лицо, мощный нос и тяжелый, почти квадратный подбородок и, конечно, за пристрастие к латыни Знаменскому дали прозвище «Юлий Цезарь».

Гимназисты с удивлением и насмешкой относились к странностям директора. В свою очередь, директор презирал гимназистов за дурное произношение латинских стихов.

Совмещая с директорским званием преподавание латинского языка, Знаменский входил в класс задумчивый и мрачный, с классным журналом под мышкой. Сев за учительский стол на возвышении, он насмешливо оглядывал притихших учеников и с шумом вытягивал под столом длинные ноги, обутые в огромные уродливые штиблеты. Вообще говоря, директорские ноги «играли» в течение всего урока: Знаменский, слушая скверное, с запинкой скандирование латинского стиха, в досаде энергично шаркал штиблетами по полу, удачный ответ вызывал снисходительное

покачивание длинных, заостренных штиблетных носков. Гимназисты, как завороченные, смотрели на директорские ноги.

— О-о! — насмешливо говорил директор, отпуская на место красного и потного ученика. — Ты делаешь успехи!

И в классном журнале против фамилии бедняги он ставил небывалую отметку: единицу с плюсом. И в самом деле, то был успех, потому что в прошлый раз у этого же ученика отметка была ноль с минусом, в связи с чем директор и пояснил:

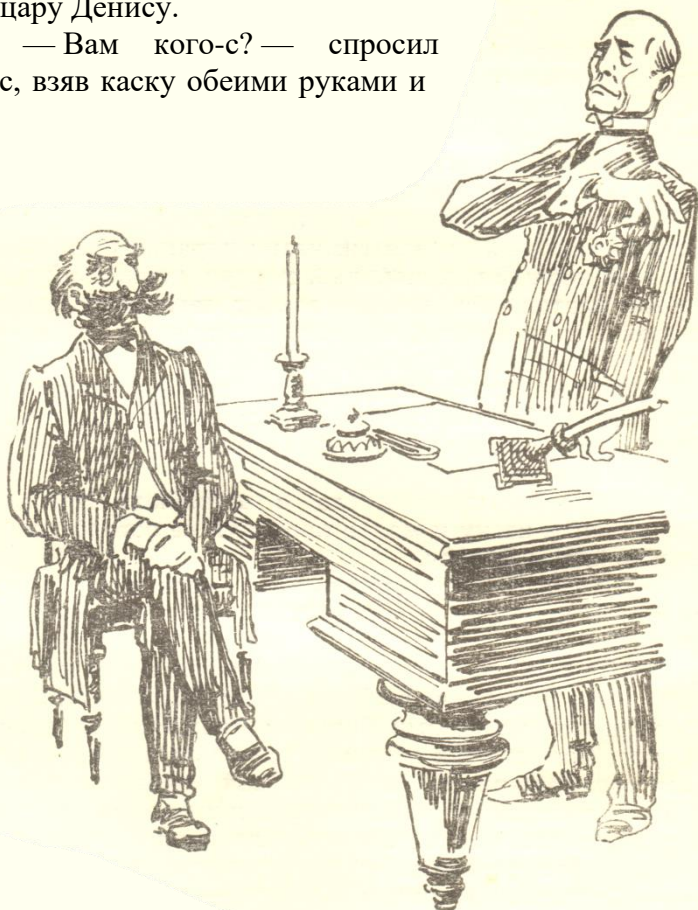
— Ты знаешь меньше чем ничего!..

Получив неожиданное приглашение директора, Вронди явился в здание гимназии парадно одетый. На нем был черный длиннополый сюртук, черный же шелковый платок, повязанный вокруг загорелой морщинистой шеи, и медная, сияющая пожарная каска на голове.

Года три назад его избрали вице-председателем местного добровольного противопожарного общества, и стой поры каска сделалась его головным убором во всех торжественных случаях.

Войдя с парадного входа в вестибюль гимназии, Вронди снял каску и молча протянул ее остолбеневшему швейцару Денису.

— Вам кого-с? — спросил Денис, взяв каску обеими руками и



держа ее на отлете дном вниз, точно кастрюлю с борщом.

Но Вронди, не отвечая, посмотрелся в стенное зеркало, отразившее чернобородое разбойничье лицо со страшными косматыми бровями, поправил галстук и быстро, молодо стал подниматься по лестнице. Гимназист восьмого класса Шульгин, великовозрастный малый с помятым, изрытым оспой лицом, по прозвищу Осетрина, склонился с верхней площадки через перила и, узнав Вронди, окаменел от неожиданности.

— Садитесь, господин Вронди, — любезно приподнялся ему навстречу из-за своего директорского стола Знаменский. — Язык свой, надеюсь, знаете?

— *Si, signore*, — ответил Вронди, опустившись в кресло.

— Итальянский, — поморщился Знаменский и с неудовольствием зашаркал под столом ногами в знаменитых штиблетах. — А латынь? Изволите знать латынь? Праматерь итальянского?.. Помните: «*Fecit milies plies ex togae!*» — «Забросил воин тогу за плечо»?

Директор взмахнул рукой, показывая, как древний римлянин забрасывал за плечо тогу. При этом он сбросил со стола тяжелый подсвечник, с

грохотом свалившийся на пол. В дверь заглянул и тотчас исчез Павел Иванович Буков.

— Черт с ним, — сказал Знаменский неизвестно по чьему адресу: подсвечника или Павла Ивановича. — Приглашаю вас дирижировать танцами на нашем выпускном вечере. Угодно-с?

— Двадцать пять рублей, — заносчиво произнес Вронди.

— Кажется, это очень дорого, — удивился директор и сильнее зашаркал ногами.

— Здесиа в жимназьо биль писатель Чеков, — пояснил Вронди, сверкнув на непонятливого директора черными глазками.

— Ну так что? — удивился еще больше Знаменский.

— Писатель Чеков написал una novella, одна новелла. Писатель Чеков писал, какой я молодой и красивый...

Вронди встал:

— Двадцать пять рублей, господин женераль!

— Но, прошу вас, больше классических танцев, — настойчиво сказал Знаменский. — Больше классических!..

Главным распорядителем на выпускном вечере был назначен Павел Иванович Помощниками его были восьмиклассники Шульгин-Осетрина и

толстяк Саша Нигберг, по прозвищу «Что-я-стукачу». Прозвище он получил благодаря своему отцу, владельцу небольшого магазина Готового белья, имевшему обыкновение выстукивать пальцами на прилавке сложные мелодии и время от времени кричать при этом в заднюю дверь, которая вела в квартиру:

— Саша, Саша, что я стукачу?

И бедный Саша безошибочно угадывал: ария из «Пиковой дамы» или вступление к опере «Фра-дьяволо»...

Вечер начался концертом с участием «местных сил», как значилось в рукописных афишах. Главной местной силой был бухгалтер Донского земельного банка чтец-декламатор Филатов, рослый человек со стеклянным глазом, обладатель громового голоса.

В парадном гимназическом зале сияла газовыми рожками огромная люстра, пахло смесью духов и светильного газа.

В первых рядах перед низкой эстрадой чинно сидели почетные гости, а дальше было сплошное синее море гимназических мундирчиков, кое-где белевшее, точно бурунами, парадными передниками гимназисток.

«Море» сдержанно волновалось: пронесся слух, что Шульгин-Осетрина только что привез

танцмейстера Вронди. Меньше всего гимназисты рассчитывали увидеть у себя Вронди!

На эстраде возвышался рояль с откинутой крышкой, похожий на готовый к отплытию черный корабль. Распорядитель с красным бантом захлопал в ладоши, его поддержали в зале, и на эстраду вышел Филатов.

Филатов откашлялся, отчего задрезбужали стеклянные, гирлянды на люстре, и объявил:

— «У парадного подъезда» господина Некрасова!

— Я тебе покажу «подъезд»! — прошипел полицеймейстер Джапаридзе.

Сидевшая в первом ряду зловещего вида старуха, в лиловом шелковом платье, с черной наколкой из драгоценных кружев «шантильи» на трясущейся голове, вдруг очнулась от дремы и вздохнула, точно предчувствуя недоброе. Это была начальница женской казенной гимназии Псалти — Пиковая Дама, ненавидимая поколениями гимназисток за злобный и вздорный нрав.

Филатов выдержал паузу, отступил шаг и вдруг, весь подавшись вперед, простер грозно палец, нацеленный, как показалось Псалти, на нее, и, страшно сверкнув стеклянным глазом, рявкнул первую строчку поэмы:

— Вот парадный подъезд!..

Пиковая Дама сильно вздрогнула и, тонко, по-птичьи вскрикнув, склонилась в обмороке на плечо соседки.

— Антракт! — крикнул находчивый Павел Иванович и сделал знак, военному оркестру, уже рассевавшемуся в дальнем углу. Грянул вальс. Огорченный Филатов пошел в буфетную.

— Нехорошо-с! — наставительно сказал ему в буфетной директор, пропуская по третьей. — Изволили почтенную матрону напугать. И зачем вам понадобился Некрасов? Неужели вам мало превосходнейших римских поэтов?

— В порошок сотру! — пригрозил Филатову полицеймейстер, страшно сверкнув глазами.

Тем временем, убедившись, что и директор и многие другие почетные лица меньше всего склонны к продолжению концерта, Павел Иванович отдал распоряжение сдвинуть в зале стулья и начать танцы. Шульгин-Осетрина поспешно бросился исполнять команду. На душе у него было беспокойно, так как всю дорогу, сидя с ним бок о бок в извозничьей пролетке, старец Вронди настойчиво требовал уплаты обусловленной суммы.

Деньги должен был дать Павел Иванович, но Осетрина отлично знал, как трудно и даже невозможно было получить у Павла Ивановича хотя бы один рубль...

Вронди стоял в центре зала, как безвкусно сделанная статуя, в наглухо застегнутом черном сюртуке с потертыми шелковыми отворотами и в белых нитяных лакейских перчатках. Левой рукой, согнутой в локте, старец прижимал к груди надраенную мелом каску и громко, отчетливо командовал:

— А-гош — налево! А-друат — направо!

И вот уже закружились по залу юные пары. Гимназисты и гимназистки танцевали истово, без улыбки, точно выполняя нужное и ответственное дело.

Вошли в круг танцующих и взрослые. Полицеймейстер Джапаридзе, расправив седые бакенбарды, совершенно такие, как на портрете Александра Второго, склонился перед супругой миллионера Неграпonte и повел ее в медленном вальсе, скрывая одышку. Вальсировал молодой преподаватель истории Дмитрий Павлович Дробязко со своей красавицей женой. Уже установился благополучный ритм бала, и только еще шушукались по углам пожилые матроны на том удивительном греко-украинско-русском языке, который составлял особенность Таганрога. Они никак не могли прийти в себя: танцмейстер Вронди здесь, среди их сыновей и дочек!

Вдруг из двери классного помещения с надписью «Физический кабинет», где хранились испорченная электрическая машина и разбитый аквариум и где сейчас был устроен буфет, показался Знаменский. Директор держался на ногах подчеркнуто твердо, шагал, как на параде, и сильно размахивал правой рукой.

— Оркестр, прекрати! — скомандовал Знаменский. Капельмейстер испуганно постучал палочкой о пюпитр, солдаты-музыканты еще с полминуты несли какую-то чепуху и замолкли. Танцующие пары остановились. К директору уже подбегал Павел Иванович.

— Где красота? — закричал Юлий Цезарь. — Я вас спрашиваю: где красота?

— Ваше превосходительство! — шепотом урезонивал его Павел Иванович. — Ваше превосходительство!

— Нет! — надрывался директор. — Нет! Я не превосходительство, я — Юлий Цезарь! А красота осталась там... там! — Он простер костлявый палец вдаль: — В Древнем Риме, милостивые государи!

— Однако... — сказал полицеймейстер, сдавший испуганную миллионершу с рук на руки супругу. — Однако...

— Вздор! — оборвал его Знаменский. — И однако — тоже вздор. Ты... ты — неуч! А ну скажи,

кто убил Юлия Цезаря? Не меня, а того... другого. Кто?

— Прошу мне не тыкать! — побагровел и затрясся Джапаридзе.

— Брут его убил, каналья Брут! — продолжал Знаменский. — Величайшего человека — и вдруг ножом. Какое хамство! Я этого так не оставлю! — закричал он и затопал ногами.

Гимназистки испуганно взвизгнули.

И тут, как принято говорить нынче, инициативу захватил Вронди. До этого момента он стоял неподвижно, горящими глазами следя за буйным директором. Смекнув, что этак вечер будет сорван и он, Вронди, уйдет не солоно хлебавши, старец стремительно, как юноша, подбежал к Знаменскому и возбужденно крикнул:

— Двадцать пять рублей, господин генераль!

— Уйди, отщепенец Рима, — толкнул его директор. — Я знаю, ты с Брутом заодно!

— О, Santa Maria! — прорычал в отчаянии старец Вронди и замахнулся на директора тяжелой каской. Словно дожидавшийся этого жеста, Юлий Цезарь послушно рухнул на пол, успев выкрикнуть:

— И ты, Брут!..

— Я не Брутто, я — Энрико Вронди! — высокомерно возразил танцмейстер, топчась над

повергнутым противником. — Меня зналь сам Антонио Чеков! Он писалъ, что я великий музыкант, похозий на Оффенбахо! Оффенбахо никто не обманываль! Где мои двадцать пять рублей?!

Директора унесли, наиболее почетные гости разъехались. Шульгин-Осетрина, весь красный от волнения, вручил Вронди собранные среди старшекласников 20 рублей 40 копеек, и после недолгих переговоров танцы возобновились.

Номер «Правды»

Шестьдесят лет тому назад в Таганроге поселилась учительница французского языка мадам д'Еспар де Перль, старая француженка, с морщинистым накрашенным лицом и кокетливо завитыми буклями.

Историю своего появления в Таганроге она рассказывала по-разному. То выходило так, что она, жена генерального прокурора Франции, первая красавица и самая остроумная женщина Парижа, была похищена внуком маршала Мюрата, который «сам в душе Мюрат», то она — соперница Сары Бернар, неоднократно возбуждавшая своей игрой зависть в великой актрисе. Во всех случаях история кончалась тем, что враги и завистники добивались и добились изгнания мадам де Перль... именно в Таганрог.

Скорее же всего, ее вывез из Франции в качестве гувернантки какой-нибудь богатый таганрогский купец, а потом, когда дочери подросли, согнал со двора: вот ей и пришлось перейти на амплуа преподавательницы.

В юности я и сам брал у нее уроки французского языка и близко знал ее и Яшу Мельникова, о котором пойдет речь дальше.

Жила мадам де Перль в «Европейской» гостинице, снимая номер помесечно, со скидкой. В номере стоял ореховый письменный стол, за ширмой из старинной узорчатой ткани целомудренно пряталась узкая девичья кровать. От ширмы и от пыльных оконных занавесей шел смешанный запах нафталина и приторных французских духов.

В три часа дня мадам де Перль обедала. Обед в ресторане стоил дорого, а упорно и долго копившая деньги старая француженка умела быть экономной. Готовила ей у себя на дому пожилая коридорная горничная Степановна.

Степановна и мадам де Перль очень дружили и любили поболтать, хотя первая не знала французского, а вторая — русского языка.

Пока мадам де Перль ела борщ, осторожно разжевывая мясо вставными челюстями, Степановна стояла, сложив руки под фартуком, прислонившись к кафельной печи, и ревниво наблюдала за тем, чтобы мадам де Перль съедала порцию без остатка.

— Epatant! — говорила француженка, отложив ложку и целуя себе кончики пальцев.

— Нравится, — с удовлетворением отзывалась Степановна.

Разговор по душам начинался.

— Ах, Франция! — восклицала мадам де Перль на своем родном языке. — Ах, как там умеют готовить соусы и супы! Мой бог, когда я вспоминаю суп из черепахи...

Она снова целовала себе кончики пальцев. Степановна слышала знакомое слово «суп» и обижалась:

— Супу захотелось! Так ведь в нем никакой съедобности, в вашем супе.

— Каким ужином он меня угостил в тот вечер! — понижая голос и закатывая глаза, стонала мадам де Перль и всхлипывала. — А как он меня целовал... Ой, мой бог, где ты, моя юность!

— Ишь, убивается, — участливо говорила Степановна. — Господь не без милости, авось еще и увидите своих земляков. — Она глядела на морщинистое лицо старой француженки, на ее трясущуюся голову и, вздыхая, заканчивала: — Раньше надо было в путь-дорогу собираться... Меньше золота копить...

Задушевный «разговор» продолжался примерно до четырех часов, когда Степановна уходила в семнадцатый номер стеречь годовалых близнецов премьерши театра, спешившей на репетицию.

Ровно в четыре часа дня раздавался стук в дверь. Мадам де Перль поправляла букли перед

мутным зеркалом, висевшим над ковровым диваном, и кричала, грассируя: «Антре!» В комнату входил Яша Мельников, огненно-рыжий гимназист.

Урок начинался. Яша быстро и легко переводил отрывок с русского на французский, и все шло хорошо: старушка сидела на диване, одобрительно, в такт французским фразам, кивая головой, временами чересчур низко, потому, что после обеда ее всегда клонило ко сну. Но вот наступал неизбежный момент, когда идиллия нарушалась. Вдруг вылезала трудная для перевода фраза, например: «Вдали чернели деревья». Во французском языке нет слова «чернели», оно переводится так: «становились черными».

— Вдали деревья становились черными, — вдохновенно переводил Яша.

Мадам де Перль вдруг переставала дремать.

— Становились черными? — сердито переспрашивала она. — Их покрасили в черный цвет, вы хотите сказать?

Яша с разбега останавливался и смущенно моргал. Мадам де Перль убеждалась, что даже ресницы у него были рыжие.

— Какой странный язык — русский, — говорила она с раздражением. — Зеленые деревья обладают у вас способностью окрашиваться в

черный цвет, а живые руки — становятся деревянными!

Дело в том, что на прошлом уроке Яша перевел фразу «Руки у него деревенели», за отсутствием на французском языке слова «деревенеть», так: «Руки у него стали деревянными» Что было делать, если мадам де Перль, якобы для того, чтобы не испортить свой парижский прононс, а скорее всего по бесталанности, преуспевала в русском языке слишком мало?

Мадам де Перль кивком головы давала понять Яше об окончании аудиенции, делая это с высокомерием, достойным, пожалуй, жены самого Наполеона, Жозефины. И в этот момент казалось, что какой-то кусочек правды, быть может, и был в сценическом варианте ее биографии.

Перед тем как уйти, Яша бросал вокруг внимательно-вопросительный взгляд.

— Вот она, берите, — раздраженно говорила мадам де Перль, доставая из ящика комода какую-то газету. — Вы же сами просили прятать ее сюда. В следующий раз будете переводить передовую статью. Я хочу думать, что журналисты у вас пишут лучше, чем писатели!

Яша уходил. «Что бы ты запела, — весело думал он, — если бы я и в самом деле стал переводить эту газету!»

Впрочем, улыбка скоро покидала его мальчишеское лицо. Он вспоминал, что не за горами срок уплаты француженке. Двадцать рублей в месяц!

Мадам де Перль, бывшая прокурорша или трагедийная актриса, кто бы она ни была, ставила условие: плата за уроки должна вноситься золотом, а не бумажками.

«Какие чудачки эти французы! — удивлялись ее клиентки. — С золотыми монетами одна беда, всегда куда-то закатываются».

В начале каждого месяца Яша обменивал смятые бумажки, полученные им от купца Шаронова за репетиторство его оболтуса сына, на две золотые десятирублевки и относил их старой француженке.

Яша Мельников был сыном капельдинера городского театра, перебивавшегося на восемнадцатирублевом жалованье. Капельдинер не мог и мечтать о гимназии для своего сына — для этого у него не было ни денег, ни положения.

Мальчику шел десятый год, когда отец стал брать его с собой в театр. И вот здесь Яша, дождавшись начала спектакля, читал принесенную с собой книгу: дома часто не было керосина. Часов в десять вечера, когда начинался третий акт, Яша брел

в капельдинерскую и засыпал в темном углу на груди шуб, доверенных его отцу.

Однажды не занятый в спектакле трагик труппы Незнамов, пожилой мужчина с высоким лбом и болезненно горящими глазами, остановился у потертого диванчика в коридоре театра: усевшись на диванчике с ногами, Яша склонил вихрастую рыжую голову над книгой.

— Чего бы ты хотел в жизни? — очень серьезно спросил Незнамов.

Яша так же серьезно ответил:

— Учиться!

Вскоре актеры собрали между собой пятьдесят рублей, нужные для взноса за «правоучение», и упростили антрепренера выдать Яшу за своего племянника, якобы из «благородных».

Яша отлично выдержал экзамены во второй класс гимназии и был принят. Серые форменные брюки и черную курточку купили ему те же актеры, хотя «благородный» антрепренер уже три месяца не платил им жалованья, ссылаясь на плохие сборы.

Сменялись труппы в городе, но оплачивать «правоучение» Яши Мельникова стало традицией, и никто из актеров даже и не помышлял отказаться внести «в кружку» два-три рубля из своих скудных средств. Впрочем, с шестого класса Яша и сам стал

уроками зарабатывать достаточно, чтобы не голодать и уплачивать в канцелярию гимназии установленную сумму. А в седьмом классе он стал брать private уроки у мадам де Перль, твердо решив за два года овладеть французским языком, с тем чтобы потом, если удастся, заняться немецким и английским...

С некоторых пор Мельников частенько заходил на квартиру к соседу, рабочему Алексею Федоровичу Суренко. Яша помнил этого парня еще подростком, гонявшим голубей. Теперь это был молодой отец семейства со смеющимися глазами и строгим лицом.

Возвращаясь как-то домой, Алексей увидел во дворе Яшу и удивился:

— А вы стали совсем взрослым, Яша!

Яша покраснел от удовольствия. Сосед вызывал в нем любопытство и уважение: Яша знал, что Суренко отсидел полгода в тюрьме «за политику».

Неожиданно для самого себя юноша сказал:

— Говорите мне «ты», дядя Алеша.

Алексей Федорович засмеялся, ласково хлопнул его по плечу и пригласил зайти к себе. Яша удивился, как весело и приветливо было у соседа в хате (хозяин, толстый Дроныч, хвастливо называл неказистое жилище Алексея Федоровича флигелем).

Хозяйка, чернобровая и быстрая Анюта, радостным восклицанием приветствовала мужа и застеснялась, увидев с ним гимназиста.

— Ничего, — успокоил ее Суренко, — это свой. Анюта быстро, в одно мгновение, как показалось Яше, собрала мужу обедать и поставила перед гостем тарелку с огромным ломтем красного арбуза, назвав его кавуном.

После обеда хозяин повел с гостем разговор, как со взрослым. Он расспрашивал его о гимназии и заразительно-весело смеялся рассказам Яши о злобном чудаке — учителе латыни Урбане...

Шел 1912 год. Яша теперь частенько не заставлял соседа дома. Мальчик знал о забастовке на металлургическом заводе Нев-Вильде и не сомневался, что Алексей занят там «политикой».

Однажды, зайдя к нему под вечер, Яша увидел, как жандармы обыскивали флигель Алексея. Голубые мундиры задержали Яшу и на его глазах перерыли всю квартиру, взломали половицы и разворошили печь, но ничего, кроме нескольких номеров рабочей газеты «Правда», не обнаружили. Хотя газета в ту пору была легальной, ротмистр пригрозил хозяину квартиры арестом.

После ухода жандармов Алексей спокойно сказал, покосившись на Яшу.

— Придется теперь газету выписывать на имя кого-нибудь постороннего.

Помогая жене навести порядок в разгромленной квартире, он пояснил юноше, что с выпиской «Правды» сейчас очень трудно. У полиции на учете рабочие — подписчики газеты, все они подвергаются частым обыскам, а во многих случаях и арестам.

Тогда юноша поделился с Алексеем внезапно созревшим планом: он скажет своей учительнице французского языка, мадам де Перль, что там, где он живет, на окраине, почта очень неаккуратна. Пусть мадам разрешит выписывать газету в ее адрес.

— А если она станет читать?

— Не станет! Она по-русски ни бельмеса.

— Что ж, попробуй, — разрешил Суренко. Он так стиснул на прощание руку Яши, что тот вспыхнул от радости.

— ...А как называется ваша газета? — рассеянно спросила мадам де Перль, когда на следующий день Яша с замиранием сердца изложил ей свою просьбу. — Может быть, «Долой царя» или что-нибудь в этом роде? Я не хочу ссориться с вашим царем, у него, говорят, тяжелый характер.

— Газета называется «Правда», — тихо сказал Яша, чувствуя, что почва из-под ног его уходит.

— А-а, «Правда»! — с удовлетворением заметила мадам де Перль. — Прекрасное название. Наверно, это орган богатых, солидных людей, с устойчивым положением в обществе, они поэтому и не боятся сказать правду!

С нового месяца почта в адрес мадам де Перль стала доставлять, помимо «Матэн» и «Фигаро» — парижских газет, также и газету «Правда». Уходя от француженки, гимназист прятал «Правду» на грудь, под гимнастерку, и относил ее Суренко. Прежде чем войти во флигель, наученный опытом Яша тщательно осматривался и, только убедившись в отсутствии незваных гостей, переступал порог.

Прошло несколько месяцев. Яша скрывал от Алексея, что продолжать уроки у мадам де Перль ему стало трудно. Отец болел, его уволили из театра. Теперь существование всей семьи Мельниковых зависело от заработка юного репетитора. Вместе с тем Яша понимал, что, если он откажется от дорогого урока, организация лишится регулярно получаемого номера «Правды».

Часто недоедая, юноша относил каждое первое число две золотые монеты старой учительнице...

Своей таксы мадам де Перль не меняла и для взрослых учеников, а их у нее было трое или четверо. Впрочем, в наш рассказ вписываются, как говорят математики, истории лишь двух зрелых мужей, обучавшихся у мадам де Перль изящному произношению в нос, — истории Севастьянова и Бокова.

Вот уже третий месяц аккуратнейшим образом посещал старую француженку частный поверенный Севастьянов, страдавший хроническим флюсом. Левая щека Севастьянова была сильно вздута, и в связи с этим голова его на короткой, толстой шее сидела криво, всегда склоняясь вправо, к плечу.

Редко выступление Севастьянова у мирового судьи обходилось без скандала. Когда его дело слушалось с утра, все было в порядке. Склонив раздувшуюся физиономию почти на плечо, Севастьянов бубнил нечто невразумительное, но вполне мирное. А если выступать приходилось позже, адвокат уже оказывался в подпитии и становился болтливым и заносчивым.

— Держитесь ближе к делу, — морщился мировой судья.

— Ближе к делу? — надменно возражал Севастьянов. — Ближе меня к делу никого нет. Если желаете знать, меня сам господин жандармский полковник к делу допускает!

С некоторых пор положение Севастьянова упрочилось: его выбрали председателем таганрогского отделения черносотенного «Союза русского народа», всероссийским шефом которого состоял сам Николай Второй.

Однажды, получив непосредственно из Петербурга какой-то секретный пакет, таганрогский полицеймейстер вызвал к себе Севастьянова.

Севастьянов явился к начальнику полиции в черном сюртуке, с парадно вздувшимся флюсом и с сильно бьющимся сердцем.

Полицеймейстер окинул критическим взглядом странную и неприглядную фигуру Севастьянова и сказал с отвращением, точно увидев его впервые:

— Ну и р-рожа! А ведь, может статься, придется тебе предстать перед очами государя императора, вращаться, так сказать, среди великосветского общества. По-французски знаешь?

— Я могу обучиться, ежели... предначертания начальства... — забормотал Севастьянов.

Полицеймейстер закричал:

— Чтобы через месяц ты мог написать донесение по-французски! А не то другого председателя найду!

Три дня после этого Севастьянов ходил задумчивый, а на четвертый пошел в гостиницу «Европейскую».

— Объясни этой французской старушке, братец, — попросил он швейцара Никиту, сунув ему рубль, — желаю я брать у нее уроки. Человек я, сам знаешь, образованный, да вот по-иностранному не обучен. Я бы ей и сам объяснил, да ведь она по-русски — ни в зуб ногой.

— Две красненькие в месяц, Хрисанф Павлович, — пробасил Никита, — меньше у нее и разговору нет. И, заметьте, кредитный билет ей не носите, одно золото приемлет.

Севастьянов досадливо отмахнулся:

— За деньгами нет остановки.

Швейцар, подумав, повел Севастьянова наверх и в коридоре второго этажа постучал в третью дверь справа.

— Антре! — донесся из-за двери слабый голос мадам де Перль.

— Это значит — можно, я не занята, — снисходительно пояснил швейцар. Первым в комнату вошел он, за ним, стараясь держать голову прямее, — Севастьянов.

— Вот, сударыня, — округленным жестом человека, знающего, как себя надо вести в обществе, показал на него швейцар, — желают обучаться.

— Э? — с недоумением спросила француженка, приглядываясь к несимметричным щекам незнакомца.

— Так что желаю брать уроки, — громко, как глухой, прокричал Севастьянов, выступая вперед. — Условия ваши известны.

Он выложил на стол две золотые монеты. Сейчас же мадам де Перль все сообразила и приятно заулыбалась.

— А-а, вы хотите учиться языку Мольера, — сказала она по-французски. — Это прекрасная идея. Садитесь же, мой друг, мы начинаем.

Она показала Севастьянову на стул рядом с собой. Швейцар, убедившись, что его миссия увенчалась полным успехом, с достоинством поклонился и вышел. Севастьянов, опускаясь на стул, не без сожаления увидел, что его золотые уже исчезли в кармане шелкового фиолетового платья учительницы.

— La table, — сказала старушка, указывая на стол. — Повторите, мой друг.

— Латабль, — радостно повторил Севастьянов, удивляясь легкости, с которой он овладевает французским языком...

А в два часа дня к гостинице подъезжал в богатом выезде отставной генерал-майор Алексей Иванович Боков, коренастый, угрюмый человек с седеющей головой, подстриженной ежиком.

Алексей Иванович был потомком по материнской линии донского казачьего атамана графа Платова. Последний представитель рода Платовых по мужской линии незадолго до того умер без прямых наследников. Все родовые поместья, в том числе и богатейшее имение близ Таганрога — Платово, были унаследованы Боковым. Однако графский титул по законам Российской империи ему, как родственнику по женской линии, не достался.

Жизнь Бокова была отравлена. Он неустанно хлопотал в департаменте геральдики сената о присвоении титула, раздавая богатые подарки и выслушивая щедрые обещания. Дошел он в Петербурге до вице-директора департамента, барона Грeve.

— По указу императора Павла Первого, — строго сказал ему Грeve, — титул наследует мужчина...

— Но я, в некотором роде, мужчина, ваше превосходительство! — чуть не плача, воскликнул замученный препятствиями генерал.

Греве строго посмотрел на него оловянными глазами:

— Вы, ваше превосходительство, мужчина по женской линии, а не по мужской. Император же Павел Первый...

Тут Боков наконец догадался положить на стол заранее заготовленный толстый пакет, и барон Греве сразу забыл об императоре Павле. Он любезно улыбнулся, смахнул пакет в ящик стола и обратился к посетителю с длинной французской фразой, содержащей, по-видимому, в себе также и какой-то вопрос, потому что на тощем лице вице-директора департамента некоторое время сохранялось выражение вопросительно-выжидательное. Но Боков смущенно молчал: родители генерала, мелкопоместные дворяне, французскому языку его не учили.

— Будущему графу, — ободрительно сказал по-русски барон Греве, смекнувший, в чем дело, — прежде всего следует... вспомнить французский язык.

На этом, собственно, аудиенция и кончилась, но Боков уехал из Петербурга окрыленный, с твердым решением обучиться французскому языку в наикратчайший срок. Вот от чего теперь зависел успех дела!

Так генерал Боков стал учеником мадам де Перль, учеником наиприлежнейшим, но не слишком способным.

— Мон шер женераль! — как всегда, с оживленным видом приветствовала его появление в своей комнате мадам де Перль, и сейчас равнодушная к звону шпор и блеску эполет. Генерал отрывисто, как на плацу, отвечал заученной галантной французской фразой, звучавшей почему-то в его устах весьма бранчливо. Француженка морщилась и объясняла, как именно следует кавалеру произносить приветствие при входе в гостиную.

Алексей Иванович терпеливо повторял за ней, стараясь придать своему хриплому басу нежные оттенки и звучания.

Весьма возможно, что и частный поверенный Севастьянов, и генерал Боков, давно уже превратившийся в погоне за графским титулом в маньяка, в конце концов овладели бы с помощью мадам де Перль тайной французской болтовни, но тут случилось одно непредвиденное обстоятельство.

В город приехал из Петербурга вновь назначенный полицеймейстер, бывший гвардейский офицер фон Эксе.

По слухам, фон Эксе вынужден был оставить столицу и блестящий гвардейский полк в связи с

некоторыми неудачами — или, вернее, чрезмерными удачами — за карточным столом. Говорили также, что назначение в провинцию он принял крайне неохотно.

— Извольте прекратить возражения, — строго сказал ему директор департамента полиции. — Лучше покинуть столицу с назначением, чем... гм... с предписанием. Надеюсь, вы там не сойдете слишком скоро с ума от скуки и не вздумаете возвращаться в столицу!

— Как знать, ваше превосходительство, — холодно ответил фон Эксе.

Прибыв в Таганрог, он остановился в гостинице «Европейской» на втором этаже; по случайности комната его оказалась бок о бок с комнатой мадам де Перль. Тотчас по приезде он пригласил к себе в номер владельца гостиницы, сухопарого немца Гавиха, и очаровал его своими светскими манерами. Гавих растаял и после нескольких рюмок отличного коньяка, предложенного любезным хозяином из своих петербургских запасов, развязал язык.

Рассказал Гавих и о соседке фон Эксе, мадам де Перль, о ее чудаковатых взрослых учениках и сумасбродной идее — получать с клиентов золотом. Старуха, должно быть, накопила за эти годы не менее двадцати пяти тысяч в золотых монетах!

Фон Эксе весело смеялся.

— А где же она хранит свой золотой запас? — шутливо спросил он Гавиха.

Тот развел руками:

— Наверно, у себя в номере. Где же еще?

После ухода Гавиха фон Эксе минут десять просидел в глубокой задумчивости, потом, воскликнув вполголоса: «Надо попробовать!», поехал в полицейское управление.

Здесь он холодно поздоровался со старшими полицейскими чинами, собравшимися для встречи и представления, и прошел в свой кабинет, в котором еще стоял запах «Шипра», излюбленных духов его предшественника. Вскоре в кабинет был вызван старший пристав первой части Шумейко.

— Имею честь явиться, — выпучив от страха и преданности глаза, отрапортовал поджарый, как гончая, пристав.

— Прошу, — небрежным жестом указал ему фон Эксе на стул и сразу же приступил к делу: — Скажите, гостиница «Европейская» ведь входит в подведомственную вам территорию, не правда ли?

— Так точно, — подтвердил Шумейко, опускаясь на стул и с беспокойством вспоминая, нет ли в гостинице упущений с пропиской и выпиской жильцов. «Проклятый Гавих, — подумал

пристав, — даст в месяц четвертную, а беспокойства — на сотню!»

— Простите, ваше имя-отчество? — любезно спросил фон Эксе.

У пристава отлегло от сердца: «Сразу видно, что из Петербурга!».

— Евстафий Епоминондович, — звякнул шпорами Шумейко.

— Епоминондович? Из греков? Нет? Так вот что, голубчик...

Голос полицеймейстера снова сделался сухим и отрывистым. Шумейко вытянулся.

— Что вам известно... гм... предосудительного о мадам де Перль, проживающей в гостинице под видом преподавательницы французского языка?

Шумейко обомлел: «Так вот что! Проживающей под видом... Предосудительного!.. А я и не подумал, что здесь дело не чисто. Боже мой!»

Пристав вспомнил, что уже давно получил от начальника почтово-телеграфной конторы список подписчиков «Правды». Там стояло также имя мадам де Перль! Тогда он, как дурак, рассмеялся и сказал помощнику: «Должно быть, выписала по ошибке, старая перечница, она не читает по-русски...» Вот когда он погиб!

— Выписывает газету «Правда»! — взволнованно доложил Шумейко. — Подозреваю старуху в преступных связях с подпольными революционерами!

— И давно? — спросил фон Эксе. Глаза у него просияли.

— Что именно-с? — переспросил сбитый с толку пристав.

— Давно ли подозреваете?

— Давно-с! — ответил пристав.

— Давно — и никаких мер не изволили принять?

Полицеймейстер поднялся. Вскочил и Шумейко... Фон Эксе вернулся в гостиницу в парном экипаже, в сопровождении Шумейко и двух городских. Приставу фон Эксе приказал остаться в вестибюле и следить за тем, чтобы никто не поднялся наверх, а городских взял с собой.

В коридоре второго этажа он столкнулся у двери комнаты, мадам де Перль с вышедшим оттуда генералом Боковым...

— Безобразие, — сказал генерал, — шляется этот... крючок. Не иначе как хочет меня шантажировать!

— Изволите говорить, ваше превосходительство, о частном поверенном Севастьянове? — твердо сказал фон Эксе,

обнаруживая большое знакомство с ситуацией. — Именно до него-то я и добираюсь. Он здесь? — фон Эксе указал на дверь.

— Притащился на полчаса раньше времени, — сердито пробурчал генерал, даже забыв удивиться такой проницательности собеседника. — Вы, ротмистр, новый полицеймейстер, должно быть?

— Я попрошу, ваше превосходительство... — не отвечая, фон Эксе взял под руку вяло сопротивлявшегося генерала и отвел его к площадке лестницы. — Я очень прошу вас тотчас оставить эту гостиницу и благодарить бога, что я появился здесь вовремя.

— А что? — испуганно спросил генерал, на всякий случай спускаясь с первой ступеньки.

— Террористический акт против особы вашего превосходительства, — многозначительно сказал фон Эксе. — Появились новые претенденты на титул графа Платова.

Не слушая, генерал быстро сбежал вниз.

Переждав, пока красный затылок Алексея Ивановича скрылся за поворотом лестницы, фон Эксе приблизился к комнате француженки и рванул незапертую дверь.

За столом сидели дремавшая старушка и еще не оправившийся от встречи с грозным генералом Севастьянов.

— Встать! — гаркнул фон Эксе. Городовые за его спиной вытянулись.

Севастьянов, вздрогнув, медленно поднялся со стула. Чувствуя, что ноги ей не повинуются, мадам де Перль продолжала сидеть, с недоумением и страхом взирая на неожиданных визитеров. Она всегда боялась, что когда-нибудь ее схватят и отвезут в холодную, пустынную Сибирь: ей рассказывали еще во Франции, что здесь это принято. И вот момент, кажется, наступил!

— Взять! — скомандовал фон Эксе, грозно указав на обоих. Топоча пудовыми сапогами, городовые схватили каждый по жертве. Ошеломленный Севастьянов молчал, мадам де Перль закричала тонким голосом: «О секунр!» (На помощь!)

— Мадам, вы арестованы по обвинению в государственном преступлении, — строго сказал на французском языке фон Эксе.

— Каком преступлении? — пролепетала старушка, повиснув на дюжих руках городовых.

Не отвечая, фон Эксе грозно сверкнул глазами на Севастьянова:

— Занимаешься совместно с нею распространением революционной литературы, каналья? Обманул доверие начальства?

— А-ва-ва, — хотел что-то ответить Севастьянов. У него громко стучали зубы и голова клонилась к плечу.

— Свести обоих вниз к приставу и под его наблюдением доставить в участок! — приказал фон Эксе.

Оставшись один в номере, он запер дверь на ключ и тотчас же принялся за поиски. Заглянув под кровать, под диван, поднял постель и снова уложил ее на место, открыл и захлопнул платяной шкаф. Отерев пот со лба и бормоча под нос ругательства, он осмотрелся и заметил небольшой деревянный сундучок, походивший на те, какие бывают у новобранцев по прибытии в часть.

Фон Эксе попробовал открыть сундучок — не тут-то было. Тогда он выхватил из ножен шашку и, засунув острие в щель, нажал. В замке что-то звякнуло, крышка отскочила. В сундучке лежали два тяжелых мешочка. Фон Эксе опустил руку в один, потом в другой — послышался мелодичный звон золота.

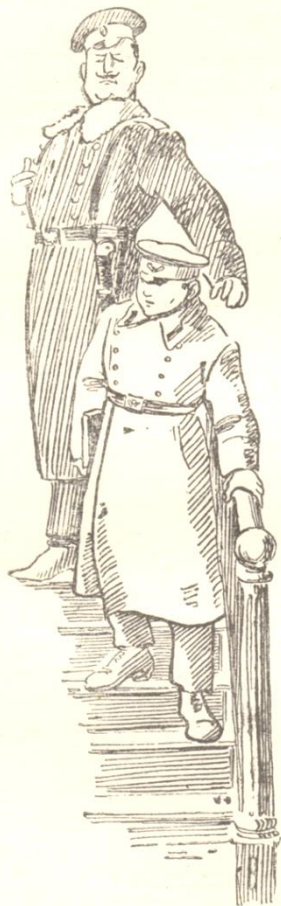
— Господи, пронеси! — набожно прошептал фон Эксе.

Он вложил шашку в ножны, быстро расстегнул шинель и ловко привязал к белому муаровому поясу, стягивающему мундир, слева и справа по мешочку. Мешочки свисали ниже колен, полы шинели оттопыривались, но это все же было лучше, чем появиться в коридоре с ношей в руках. Тяжело ступая, фон Эксе, бледный и готовый ко всему, вышел из номера. Но коридор был пустынен и тих. Немногочисленные жильцы прослышали, что у француженки обыск, и попрятались в своих номерах, чтобы не попасть полиции под горячую руку.

Считая себя уже в безопасности, фон Эксе вдруг увидел рыжего гимназиста, поднимающегося по лестнице...

Трудно сказать, как случилось, что Яшу не задержали внизу, в вестибюле. Возможно, что пристав, увозя и городских и арестованных, впопыхах не оставил швейцару соответствующих распоряжений.

Возможно, что швейцар Никита, погруженный в размышления о превратности судьбы, в рассеянности не заметил мальчишеской фигуры, легко взбежавшей наверх. Так или иначе, но ничего не подозревающий Мельников беспрепятственно поднялся на второй этаж. Сегодня было первое число, день платежа за урок мадам де Перль.



Внезапно Яша увидел незнакомого полицейского офицера, глядевшего на него в упор с самым недобрым выражением.

— Ты... куда? — чуть задыхаясь, спросил тот.

— Прошу мне не тыкать! — с мальчишеским задором ответил Яша.

К его удивлению, офицер обмяк и послушно переспросил:

— Вы куда?

— К мадам де Перль, — радуясь победе, ответил Яша и хотел пройти.

Неожиданно офицер дружески обнял его за плечи и зашептал:

— Идите, молодой человек, отсюда поскорей. У нее сейчас обыск!

Первым движением Яши было ринуться в комнату мадам де Перль, защитить ее, сказать, что он, он один во всем виноват, что француженка даже не подозревала, какую газету он выписывал на ее

имя. Однако Мельников тотчас сдержал свой порыв. Сколько раз говорил ему Суренко, что никто не вправе хотя бы косвенно ставить под удар организацию. А ведь если он, Мельников, явится с повинной, неминуемо пойдет расследование, и ниточка легко протянется к Алексею: все в Касперовке знали дружбу Яши с «политическим» Суренко.

Яша молча сбросил с плеч руку фон Эксе и, круто повернувшись, стал спускаться вниз.

Полицеймейстер несколько мгновений напряженно следил за удаляющимся гимназистом, потом с облегчением вздохнул и скрылся в своем номере. Здесь он переложил мешочки в чемодан и слегка дрожавшими руками тщательно запер его на ключ.

* * *

Суренко выслушал взволнованный рассказ Мельникова об аресте старой француженки и задумался.

— Не похоже, чтобы тут пахло политикой, — сказал он наконец. — Содержат ее в участке в общей, а не в одиночке; далее, обрати внимание, обыск делал полицейский, а не жандармский офицер. Тут, брат, что-то не так!

Словом, насколько понял Яша, мучившая его мысль, что из-за него арестовали мадам де Перль, вызывала большое сомнение.

— Что и говорить, один экземпляр «Правды» для нас теперь безвозвратно потерян, — вздохнул Суренко. — Но, кажется, нового полицеймейстера заинтересовало в комнате старухи что-то совсем другое... Ты Федяева знаешь? Сидел по делу Совета рабочих депутатов, слесарь... Жена его служит горничной в гостинице.

— Степановна? — оживился Яша. — Как же, знаю.

— Ну, так вот, сходи к ним на дом, расспроси ее. Может быть, она что-нибудь поняла во всей этой странной истории.

Яша не застал Степановну дома... На свою беду, она сразу же заподозрила какую-то связь между пропажей золотого клада и странным поведением полицеймейстера. Возможно даже, что она кое-что заметила в то утро, когда он воровски шмыгнул из номера мадам де Перль к себе. Словом, Степановна заявила в полицию на фон Эксе.

Пристав Шумейко внимательно выслушал ее и задумчиво сказал:

— Это твой муженек участвовал в беспорядках в девятьсот пятом? Как же, помню...

— Он тоже доси вас вспоминает, — ответила, вздохнув, Степановна.

После паузы пристав вежливо спросил:

— А не вы ли, почтенная, сами и стащили золото госпожи де Перль? Сознавайтесь!

Степановну посадили.

* * *

Старый слесарь-инструментальщик Федяев, отбывший ссылку по делу Таганрогского Совета рабочих депутатов, явился на вечерний прием к присяжному поверенному Золотареву, защищавшему его на процессе.

— Малость постарели, Александр Сергеевич, — сказал Федяев, опускаясь в кресло у стола и глядя на красивое, чуть обрюзгшее лицо адвоката.

— Ага, Федяев! — тотчас узнал адвокат своего подзащитного и с любопытством оглядел его.

Чисто выбритый, с резко очерченной линией рта, Федяев, казалось, был вполне спокоен. «Силен!» — со смешанным чувством уважения и зависти подумал Золотарев.

— Отбыли? — спросил адвокат. — Весь срок? Полностью?

— Нам скидки не полагается, — чуть усмехнулся Федяев. — Старый срок отбыл, нового еще не заработал. Но сейчас не об этом речь.

Голос его едва заметно дрогнул:

— Жену мою, Анну Степановну, взяли. Совсем без причины, она никакого участия в моих делах не принимала. Помочь бы ей надо, Александр Сергеевич.

— Как же без причины, — со вздохом возразил Золотарев, — если вы ее муж? Вы и причина! И, уверяю вас, вполне достаточная.

Адвокат поднялся, бесшумно по мягкому ковру подошел к двери и убедился в том, что она плотно прикрыта. Потом он подошел к Федяеву и шепнул ему на ухо:

— Столыпин, Петр Аркадьевич, слышали небось? Весьма серьезный господин. Словом, при всем моем сочувствии, больше политических дел не беру. Откровенно скажу вам: и опасно, и бесцельно.

* * *

Севастьянов, едва он был доставлен в участок, принес повинную в подлоге каких-то векселей. Его не слушали. Вскоре влиятельные покровители открыли перед ним двери темницы.

А что касается мадам де Перль, то, по воспоминаниям одних, она недолго пробыла в заключении, будто бы тот же фон Эксе освободил ее из узилища, после чего она поспешно выехала на родину, по утверждению других, старушка померла

в первый же вечер ареста от удара. Так или иначе, следы ее теряются.

* * *

А тем временем новый полицеймейстер стал проявлять чудовищные странности. Из-под его пера выходили приказы один нелепее другого, а однажды среди белого дня он появился на главной улице на коне в одном исподнем.

Все сразу поняли, что имеют дело с сумасшедшим. Из Новочеркасска прибыла медицинская комиссия.

Врачи приехали вечером и, узнав, что фон Эксе на представлении «Ограбленной почты», поспешили в театр и среди действия зашли в атаманскую ложу, где одиноко сидел он. Публика, перешептываясь, смотрела не на сцену, а на полицеймейстера. Артисты играли запинаясь.

Фон Эксе «удил», забрасывая детскую удочку в глубь ложи.

— Тише, господа, и так сегодня плохо клюет, — досадливо сказал он врачам, не отрываясь от своего занятия.

— Едем! — прошептал ему с решительным видом старший из врачей, с погончиками надворного советника.

* * *

Фон Эксе был признан областной санитарной управой неизлечимо помешанным и уволен в отставку.

Года через два один таганрогский обыватель, побывавший в Петербурге, встретил фон Эксе в светском обществе. Бывший полицеймейстер был снова в гвардейском мундире и вел себя вполне здраво. Денежные дела его, по-видимому, также пришли в порядок: фон Эксе, сев играть в «шменде-фер», ставил на карту стопки золотых с этакой легкостью. Впрочем, карта шла к нему очень счастливо.

Что же касается генерала Бокова, то о фон Эксе он долго вспоминал с благодарностью, как о своем спасителе, и в сумасшествие его не верил, утверждая, что «попросту выжили благороднейшего человека».

После отъезда мадам де Перль Алексей Иванович стал брать уроки французского языка у преподавателя гимназии мосье Боссиона и достиг изрядных успехов. Однако графского титула бедняге так и не присвоили.

* * *

Степановну, после шести месяцев отсидки, выпустили за недостатком улик.

Владелец гостиницы Гавих получил секретное указание не принимать обратно жену бунтовщика и забастовщика. Впрочем, Гавих и без того решил не пускать на порог эту «наглуемую» женщину, у которой нет ничего святого...

Об освобождении Степановны Яша узнал в тот же день от Суренко.

— Пойди к ней, пойдя, расспроси, — с ласковой насмешкой сказал Алексей Федорович.

Нервный и впечатлительный юноша до сих пор не вполне отделался от мысли, что катастрофа постигла мадам де Перль, а может быть, и Степановну по его, Яши, вине.

Он покраснел:

— И пойду!

— Вот-вот. Я и говорю — пойдя.

Дождавшись, когда стемнеет, Яша отправился, увязая в осенней грязи, на Камбициевку, где жили Федяевы.

«Если мадам де Перль все-таки была взята из-за «Правды», найденной у нее, а Степановну арестовали из-за ее близости к старой французенке, — размышлял Яша, — лучше бы мне и не показываться у Федяевых. Ничего, кроме тяжелого разговора, не получится».

Вечером, волнуясь и ругая себя в душе за страх и мнительность, Яша добрался до покосившегося домика на окраине.

На столе, у стенки, стояла маленькая керосиновая лампа с подклеенным стеклом. Лампа освещала лишь небольшой круг, а Яша стоял на пороге. Однако Степановна тотчас узнала гостя.

— Яшенька! — радостно сказала она. — Петро, это Мельниковых Яша, знаешь?

— Не помню что-то, — спокойно отозвался Федяев, а Яша легко признал его голос, удивившись странной холодности человека, с которым он уже несколько раз встречался на собраниях. Впрочем, юноша тотчас же сообразил: «Конспирация, даже перед женой не хочет признаваться в своих знакомствах. Это — да!»

А Степановна уже помогала Яше снять мокрую гимназическую шинель, обмякшую от дождя фуражку с гербом. Усадив его за стол, угощала чаем...

И вдруг Яша спохватился, что с наслаждением глотает горячий чай, забыв о важном деле, ради которого пришел сюда.

— Аза что вы были арестованы, Степановна? — спросил он голосом, которому пытался придать спокойствие.

— Я? За правду, — вздохнула Степановна, не замечая, как вздрогнул юноша.

— За «Правду»? — ужаснулся Яша.

— Ну да, ведь я по дурусти думала, что начальство и в самом деле правды добивается...

— То есть это как же? — спросил Яша, окончательно растерявшись.

— А вот как! Я-то видела, что старушку только для видимости убрали и что сундучок ее вскрыт, да пустой. Ну, ко всему этому заприметила, что чемоданчик у нового постояльца уж больно отяжелел. Я и брякнула в участке: так и так, имею подозрение. Вот за эту-то правду мою меня же и посадили. У Яши отлегло от души.

— Ну и как? — очень серьезно спросил жену Федяев. — Больше не хочешь правды?

Степановна в ответ рассмеялась. Яша никогда не предполагал, что эта пожилая и серьезная женщина способна так заразительно смеяться. Улыбнулся и Федяев. За ними весело засмеялся и Яша.

Чудо Иоанна Кронштадтского

С некоторых пор крупный таганрогский хлебный экспортер Иосиф Ильич Бесчинский, небольшого роста старик с аккуратной подстриженной седой бородкой и карими, красивыми, как у женщины, глазами, приезжал на свою ссыпку расстроенный и молчаливый.

Он уже не приветствовал богатых ссыпщиков соленой шуткой, он больше не заговаривал зубы мужичку, хмуро продающему по нужде припасенный на зиму хлебушек. Не радовал его алтын скидки с пуда, которого добился в отчаянном торге старший приказчик.

— У хозяина жинка помирает, — шептались продавцы.

— Старуха при смерти, — рассказывали дома приказчики. — Душит ее болячка, глотать не дает!

И в самом деле, жизнь, видимо, покидала эту высокую статную старуху с тонкими и приятными чертами лица. Она целыми днями дремала в кровати и только тогда, когда в комнату входил ее муж, поднимала на него глаза, полные мольбы: «Спаси!»

Старик съезживался, стискивал руки и молился в душе.

Надежда была теперь только на бога: все пятеро таганрогских врачей — каждый порознь и

все вместе — объяснили Бесчинскому, что у Иды Натановны рак пищевода. Это сказал на консилиуме щеголеватый врач с черными вьющимися бакенбардами, грек Диварис, это подтвердил степенный и важный доктор Лицын, это же сказали и остальные — Шимановский, Вреде и молодой, еще с замашками студента, Любович.

Был еще один врач, к которому Бесчипский возил больную жену. Звали его Антон Павлович, а фамилия его была Чехов. Говорили, что он писатель, но не это привлекло Бесчинского, который ничего не читал, кроме местной газеты «Таганрогский вестник». Впрочем, именно в этой газете он вычитал короткое сообщений о приезде в Таганрог «довольно известного автора рассказов и комедий». Главное тут было не в рассказах и комедиях, а в том, что приезжий был врач, притом прибыл он из Москвы, стало быть, его следовало отнести к врачам столичным. Может быть, столичный врач даст какое-нибудь новое, модное лекарство против недуга Иды Натановны?..

В те дни июля 1899 года она еще не лежала пластом. Из старомодного экипажа, называвшегося здесь «дрожки», она, хоть и поддерживаемая под руку мужем, вышла довольно бодро. Ее тоже тешила перспектива полечиться у столичного доктора.

Хозяин гостиницы «Бристоль» Багдасаров, толстый мрачный старик, встретил знатных гостей у дверей. Все таганрожцы знали, что у Багдасарова брат-близнец; оба старика были на одно лицо, почему здесь десятилетиями бытовала шутка — при встрече с одним из близнецов шутники спрашивали:

— Это вы или ваш брат?

Бесчинскому было не до шуток. Он лишь попросил показать номер, в котором остановился Чехов. Багдасаров, задыхаясь от жира, молча проводил его к двустворчатым дверям. Из-за поворота коридора с любопытством выглянул второй Багдасаров, для довершения сходства одетый, как и первый, в черный сюртук и полосатые брюки.

Бесчинский деликатно постучал согнутым пальцем. Послышался басовитый негромкий голос.

— Войдите!

Узнав о цели визита этих двух старых людей, Чехов очень вежливо и чуть смущенно сказал, что он ведь не практикующий врач, и посоветовал положиться на мнение здешних докторов или повезти больную в Харьков к профессорам. Тогда Бесчинский попросил посмотреть его жену «так», ну по доброте, что ли.

Чехов вздохнул и задал замершей от страха Иде Натановне несколько вопросов, касающихся ее болезни, Что-то мешает глотать? Точно ком в горле?

Решительного мнения Чехов не высказал, но еще раз, и уже более настойчиво, посоветовал повезти больную в Харьков к тамошним светилам. Казалось, он не счел ее безнадежной.

— Остановитесь в Астраханской гостинице, — заботливо порекомендовал он Бесчинскому, — там тихо и спокойно.

— Спасибо, — сказала Ида Натановна, подымаясь. Ее муж молча низко поклонился Чехову и взял под руку жену.

Однако в Харьков им поехать не довелось. Уже назавтра больной стало значительно хуже. Она больше не глотала твердой пищи. Ее стали кормить молоком и сладким чаем. Доктор Диварис порекомендовал было покупать у хохлушек кипяченые сливки, но старик Бесчинский с негодованием отвернулся: это был «трейф» — запрещенная еврейским канонам пища.

Ида Натановна страдала и таяла на глазах. Вечером ей сделали укол морфия, и она забылась. Бесчинский вышел на цыпочках в столовую, где его уже давно поджидал старинный приятель — бакалейщик Чуйко.

— Шо я вам кажу, сосед, — заторопился Чуйко, с жалостью глядя на измученное лицо Иосифа Ильича. — Хотите, кажу, выходить свою Идочку?

— Ну? — спросил Бесчинский.

— Не «ну», а шлите, сосед, эстафету до самого батюшки Иоанна Кронштадтского, нехай помолится!

— Ерунда, — сказал Бесчинский, но подошел ближе. Он, конечно, хорошо знал все, что рассказывали о протоиерее Андреевского собора в Кронштадте, отце Иване Сергееве, известном больше под именем Иоанна Кронштадтского.

О «чудесах Иоанна Кронштадтского» шептались просвирни и громко говорили в черносотенно-церковных кругах. Сначала речь шла о необыкновенных и чудодейственных беседах отца Ивана с больными — припадочными, кликушами, слепыми и хромыми. Отец Иван, утверждали его поклонники, возлагал руки на головы страждущих, и те мгновенно исцелялись: хромые уходили не хромя, слепые снова видели, немые поступали запевалами в церковный хор.

В дальнейшем протоиерей Сергеев перешел, ввиду наплыва клиентов, к заочному лечению. Это уже были, так сказать, чудеса высшего сорта: из отдаленных городов отцу Ивану слали в Кронштадт

телеграммы с просьбой о чуде. Практикой был даже выработан стабильный текст такого обращения: «Молитесь за здоровье раба божия Андрея, Петра, Ивана». Одновременно заочный претендент на чудо делал телеграфный же перевод на имя священника Ивана Сергеева в сумме ста рублей — это была установленная чудотворцем такса-минимум.

Справедливость требует отметить, что врачеватель не повышал гонорара в зависимости от тяжести заболевания. Шла ли речь о пустяковом суставном ревматизме или о грозных припадках грудной жабы — безразлично: сотен ими билет служил ордером на очередное чудо. Получив телеграмму и перевод, отец Иван отвечал без промедления: «Молюсь».

И дело было сделано! Умиравший хотя и умирал в положенное ему время, но с уверенностью, что вот-вот ему станет лучше.

Старик Бесчинский относился к этим рассказам скептически. Помимо свойственной людям торговой профессии недоверчивости, в нем говорило и другое чувство: как-никак, а вот уже пятнадцать лет он выполнял в еврейской общине обязанности «общественного» раввина, и ему решительно было не к лицу верить в чудеса служителя другой религии. Но страдающий человек всегда не прочь поверить в чудо. Доктора сказали:

«Она умрет от истощения и разросшейся опухоли не позже чем через несколько дней». Они уже ни на что не надеются. А что, если этот Иоанн Кронштадтский и в самом деле поставит бедняжку на ноги? В священном писанин немало примечаний удивительных превращений и чудесных дел. Черт его знает, а может быть, и в самом деле Иоанн Кронштадтский святой и чудотворец?!

— А как ему послать телеграмму? — отрывисто спросил Бесчинский.

— Да в Кронштадт же! — обрадовался Чуйко. — Его, святого отца, там каждая собака знает.

Уже через час телеграмма «Молитесь за рабу божью Иду» и телеграфный перевод на сто рублей были посланы. К вечеру больной стало заметно хуже: она беспрестанно икала и хваталась за горло руками. Все пятеро врачей были вызваны в дом, и они, после недолгого Между собой совещания в дальней комнате, пригласили Бесчинского. От имени консилиума доктор Диварис объявил дрожавшему мелкой дрожью Бесчинскому, что, по-видимому, опухоль почти совершенно закрыла пищевод у выхода в горло. «Теперь развязка уже близка», — со вздохом сказал Лицын.

Врачи обещали навесить больную завтра и ушли. А Бесчинский вернулся в спальную и

опустился в кресло рядом с кроватью жены. Он закрыл лицо руками и стал раскачиваться взад-вперед — библейская поза отчаяния.

Ида Натановна лежала, тяжело дыша, и смотрела в одну точку.

— Иосиф, — сказала она под утро чуть слышным голосом, — я хочу жить.

— Ты будешь жить, Ида, — сказал Бесчинский, глотая слезы, — ты будешь жить сто двадцать лет.

— Я хочу тебя о чем-то просить, — прошелестел голос умирающей.

— О чем ты хочешь меня просить? — воскликнул старик, уже не сдерживая слез.

— Если я все-таки умру, ты должен что-нибудь сделать для бедных. Ах, мы жили с тобой несправедно, Иосиф!

— Неправедно, — плача, повторил Бесчинский.

Он схватил себя за ворот рубахи и разорвал ее до пояса. В этот момент дверь открылась и вбежала стряпуха Акулина, шлепая по полу босыми ногами.

— Телеграмма! — взволнованно сказала она, протягивая хозяину аккуратно сложенный листок. — Двадцать копеек я рассыльному дала, не забудьте, барин.

Бесчинский развернул листок и, далеко отведя его от глаз, прочел вслух:

— «Молюсь. Отец Иоанн».

— Что такое? — спросила умирающая.

— А то такое, — радостно сказала добродушная Акулина, — что будете вы, барыня, здоровенькая. Доктора от вас отказались, зато святой батюшка за вас молится, его молитва доходчива.

— Что? Врачи отказались? — с ужасом сказала Ида Натановна.

Бесчинский, бросив на Акулину испепеляющий взгляд, объяснил жене, что «на всякий случай» он послал Иоанну Кронштадтскому просьбу об исцеления. Больная задышала чаще, тяжелее. Бесчинский вскочил и с испугом склонился над постелью. Он увидел, что вены на лбу Иды Натановны напряглись и набухли.

— Значит, я и в самом деле умираю, — сказала она неожиданно громко и сердито, — зачем же вы мне морочили голову?!

— Ну-ну! — прошептал в отчаянии Бесчинский.

В пять часов вечера врачи сошлись у подъезда особняка Бесчинского.

Перед тем как позвонить, они постояли в нерешительности, опасаясь, что застанут больную

уже мертвой, — мысль, которая нередко тревожит врача у дверей пациента. Однако наметанным глазом они не заметили вокруг печальных знаков смерти, посетившей дом: у ворот не суетились люди, не входили и не выходили беспрестанно из незакрывающихся дверей. Да и дверь была, как обычно, на запоре.

Доктор Диварис,
вздыхнув свободней,
выпростал бакенбарды из-под
поднятого воротника
пальмерстона и нажал кнопку.
На звонок вышла Акулина и,
всплеснув руками,
выкрикнула, захлебываясь от
переполнивших ее чувств:

— А у нас что!..

Диварис, а за ним
остальные врачи попятились.

Но у Акулины был такой радостный и возбужденный вид, что мысль о катастрофе следовало оставить. Врачи, смело вошли в квартиру.



Навстречу им, ведомая под руку мужем., шла Ида Натановна с торжествующей и радостной улыбкой.

Она только что покушала мясной соус а черносливом, — весело крикнул Бесчинский, — и глотала так же хорошо, как мы с вами!

— Я совсем, совсем выздоровела, — сказала Ида Натановна, смеясь и плача одновременно.

«Но ведь у нее — рак, полная непроходимость пищевода, как же она может глотать?» — ужаснулся про себя Диварис.

— Я же говорил, что вы поправитесь, — пробормотал он, опускаясь в изнеможении на стул.

— Выпейте, коллега, воды, — сдавленным голосом сказал ему Лицын и, быстро налив из графина стакан воды, сам выпил залпом.

Супруги Бесчинские, перебивая друг друга, рассказали всю историю посылки телеграммы Иоанну Кронштадтскому и о его ответе, смертельно напугавшем больную.

— Я почувствовала, что у меня внутри все оборвалось, когда он прочел «молюсь», — объяснила с томной улыбкой Ида Натановна. — Вы ведь понимаете: если раввин просит русского священника составить к богу протекцию, значит, дело мое плохо. Я так испугалась, так испугалась... — словоохотливо продолжала бывшая

умирающая, — и вдруг этот проклятый ком, который стоял у меня в груди, куда-то девался!..

Она говорила еще очень долго и даже, чтобы наглядно убедить врачей в своем выздоровлении, велела Акулине подать себе вареную курицу и съела ее почти целиком.

Не проронив ни слова, врачи откланялись и вышли на улицу. Несколько шагов они прошли по-прежнему молча, потом самый молодой и, должно быть, плохо воспитанный доктор Любович вдруг расхохотался и сказал:

— А ведь, коллеги, мы приняли истерический спазм пищевода за раковую опухоль! Непроходимость получилась от спазма, а не от рака.

— А почему же этот идиотский спазм вдруг прошел? — сердито спросил Лицын.

— Да потому, что все равно он скоро прошел бы. А тут эта телеграмма, испуг, потрясение — «отпустило», спазма как не бывало.

Любович помрачнел. Он вдруг сообразил, что сразу же добился бы известности, прояви он вовремя находчивость.

— В другой раз не буду прислушиваться к... рутинерам, — сказал Любович сквозь зубы. Но никто не обиделся.

— Глупейшая история, — вздохнул доктор Диварис. — Вам куда — налево? Я — направо.

— Иосиф, — сказала мужу Ида Натановна после ухода врачей, — я все-таки хочу, чтобы ты что-нибудь сделал для бедных, ты обещал.

— Ах, оставь, — отмахнулся Бесчинский, — ты же не умерла, при чем тут «обещал»?

Он крикнул в открытое окно, выходявшее во двор:

— Пошлите мне приказчика!

И, не глядя на жену, пробормотал несколько нетвердым голосом:

— Ужасно я запустил дело. Интересно, что слышно у меня на ссылке?

Тайный советник Поляков

Весной 1908 года в Таганрог из-за границы приехал исконный таганрожец, уже много лет проживавший то во Франции, то в Швейцарии, тайный советник Яков Соломонович Поляков — знаменитый строитель железных дорог на Юге России и основатель русских банков.

После беспокойного для него 1905 года он ушел от дел, с полным основанием считая, во-первых, что почва под ногами русских банкиров что-то уж очень стала колебаться, а во-вторых, что накопленных богатств ему хватит до конца дней, тем более что он приблизился к тому возрасту, когда ждать этого конца уже недолго.

Оно так бы и случилось, если бы не бескорыстолюбия, толкнувший его на, казалось бы, верный шаг к сохранению капитала и его приумножению: продав свой контрольный пакет акций основанного им же крупнейшего русского банка — Азово-Донского коммерческого, Поляков купил облигации Крестьянского банка на огромную сумму, внося в частичное обеспечение всю свою наличность. Облигации неожиданно стали резко падать в цене, и Полякову пришлось заложить этому же банку для покрытия задолженности свое

знаменитое имение — так называемую Поляковку примерно в пятнадцати километрах от Таганрога.

Поляковка занимала около двух тысяч десятин. Часть имения была расположена на берегу Азовского моря. На прибрежной полосе управитель имения Иосиф Бересневский насадил по указанию Полякова сосновый бор, выглядевший в этом южном уголке России и неожиданно и экзотично. На территории усадьбы был построен конный завод, растивший особую породу лошадей: помесь бельгийского першерона с русской орловской. Метисы были одновременно и рысисты и выносливы.

Самую большую достопримечательность Поляковки составляла электрическая станция, по времени сооружения — вторая после петербургской. Станцию построили бельгийские мастера, присланные Поляковым из Брюсселя, где он проводил зиму 1888 года. Станция работала на постоянном токе и освещала все жилые и хозяйственные постройки имения, вызывая завистливые толки в соседней «метрополии» — в Таганроге, где высшим достижением считались газокалильные фонари.

В центре Поляковки был выстроен по проекту модного архитектора двухэтажный дом-дворец, с бесконечной анфиладой высоких комнат, с

двухсветными залами, с дворцовыми ходами и переходами. Парадная лестница поражала драгоценными сортами дерева и великолепной резьбой работы крупнейших мастеров, специально выписанных из столицы. При спальных покоях строитель предусмотрел — и это, пожалуй, считалось наибольшим «шиком» поляковского дворца — настоящие, на английский образец, туалетные комнаты. В каждом этаже в конце коридора были сооружены ваннные комнаты, совсем такие, как в «Европейской» гостинице в Петербурге. А полы! Паркет, выложенный крупными звездами, паркет в узкую шашку, паркет светлых сортов, перемежающийся с темным, паркет углом и крестом — да мало ли еще какими геометрическими фигурами был выложен твердый и сухой, как мрамор, паркет в различных покоях дворца, принадлежащего богачу-выскочке, тайному советнику и кавалеру высших орденов Российской империи. Благотворительное ведомство императрицы Марии легко и торопато одаривало жертвователей и чинами, и орденами, и даже титулами. Титула Поляков не получил, но, пожалуй, прославился больше, чем иной граф: высокий, с женственными манерами, узколицый старик угодил в только что появившийся тогда роман графа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», на те его

страницы, где речь идет о Стиве Облонском, приехавшем просить хорошо оплачиваемую должность к богачу и воротиле Болгаринову. Со свойственной Толстому манерой не очень далеко искать замену подлинной фамилии, прославленный автор романа переименовал фамилию Поляков на Болгаринов, оставив на месте и неслыханное богатство, и влияние крупнейшего железнодорожника — банковского деятеля, и еврейскую национальность.

Болгаринов-Поляков заставил долго ждать князя-рюриковича у себя в приемной и наконец «с чрезвычайной учтивостью принял его, очевидно, торжествуя его унижением, и почти отказал ему».

Надо сказать, что честь появиться на страницах романа Толстого оспаривали у Якова Полякова его родной старший брат Самуил и младший — Лазарь, благо у Толстого имя богача не названо. Однако, видимо, тайный советник Яков Соломонович Поляков, единственный из трех братьев — сановник, и был тем требовавшимся князю Облонскому влиятельным и важным лицом, к которому он обратился за должностью. К тому же именно Яков Поляков отличался особой ловкостью и наигранной светскостью, которая в прошлом помогла ему проникнуть к морганатической супруге царя Александра Второго княгине Юрьевской и с ее

помощью, за взятку, заполучить важную концессию на строительство Владикавказской железной дороги. «Приоритет» Якова Полякова перед братьями несомненен.

В годы своего необычайного взлета Поляков упивался могуществом миллионера; ему нравилось поражать воображение размером пожертвований на больницы и институты благородных девиц ведомства императрицы Марии — матери царя. Потом, уйдя от дел и проживая за границей, он радовался, когда о его неожиданных лесных насаждениях на берегу Азовского моря писали русские газеты «Русское слово» и «Новое время» и французская «Фигаро». Он был чувствителен к сообщениям парижских биржевых газет (а Франция тех времен была мировым банкиром) о преуспевании двух банков, учрежденных им, Поляковым, в тихом Таганроге: Азово-Донского земельного и Азово-Донского коммерческого. Особенно преуспел второй: в короткий срок настолько разросся и окреп, что его правление было переведено в Петербург, где на Большой Морской улице для него построили огромный и мрачный дом в стиле модерн, с рельефными голыми фигурами на фронтоне. Кстати, по поводу этих раздетых фигур петербуржцы грустно острили, что банк на своем фасаде изобразил разоренных им клиентов. И в самом деле,

банк был колоссальной воронкой, в которую устремлялись средства дельцов помельче. Поляков как-то не сумел удержать в своих руках верховодство, и фактически хозяевами банка стали французы.

Видимо, Поляков умел наживать, но не сохранять нажитое. Впрочем, в капиталистическом мире всегда случалось немало примеров внезапных богатств и столь же внезапных потерь состояний. И всегда тут играла решающую роль слепая страсть богача к быстрому и легкому увеличению богатства.

Крах для Полякова наступил в начале двадцатого века, но крах очень и очень относительный. К моменту приезда в Таганрог, так сказать, на старое пепелище, Поляков отнюдь не мог быть причислен к беднякам: у него сохранился какой-то, хотя и не очень значительный, текущий счет в таганрогском отделении им же основанного Азово-Донского коммерческого банка, ему еще принадлежала конюшня беговых лошадей, бравших призы на ипподромах империи, у него был особняк на Греческой улице в Таганроге и прогулочное парусное судно на Неве, будто бы столь же роскошное, как царская яхта «Штандарт», в Швейцарии на озере Веве стоял принадлежащий ему охотничий домик. Наверно, сохранилось еще кое-что, например кольца с крупными

бриллиантами, несколько золотых портсигаров с изумрудами. Но всего этого было совершенно недостаточно, чтобы вновь пуститься в крупную биржевую игру и попытаться вновь выплыть в первые ряды мировых богачей. Вот потому-то Поляков и приехал на этот раз в Таганрог, где он на старости лет задумал сделать новый прыжок к миллионам. Ему был нужен воздух Таганрога, чтобы обрести былую сноровку, именно здесь когда-то он начинал свой взлет.

Да, тогда он был молод, ему казалось, что в нем работает тысяча сердец и каждое с небывалой силой посылает кровь по артериям его тела. Поляков никогда не был бабником, женщины занимали в его жизни, как и в жизни Наполеона, малое место.

Разумеется, у него случались шикарные любовницы, он дарил им бриллиантовые кольца, и они совершали прогулки в богатом выезде, сверкая, как выставка в окне ювелира. Скорее они были его рекламой, чем утехой. И все-таки было два-три случая в его жизни, когда женщины по-настоящему влюблялись в этого холеного и необыкновенно удачливого сына таганрогского зубного врача. Однако не эти воспоминания волновали сейчас старческую кровь тайного советника. По мере того как уходило богатство, он все чаще вспоминал свои

необыкновенные былые удачи. Вот он видит себя после сдачи казне первой построенной им железной дороги на Юге России, Екатерининской. Его принимает министр путей сообщения, человек необычной для царского сановника внешности и необычных повадок: темные баки, чисто выбритые губы и подбородок, кургузая визитка, быстрая, молодая манера держаться. Ну конечно, не обошлось в этом свидании с глазу на глаз в роскошном кабинете без изящно врученной взятки в плотном запечатанном конверте. Легкий с полуулыбкой кивок головы министра, конверт небрежно брошен в средний ящик стола, впрочем тут же предусмотрительно запертый на ключ.

Но вот приятные воспоминания обрываются. Поляков председательствует на собрании акционеров Азово-Донского коммерческого банка в Таганроге в тот день, когда решалось, переводить ли правление в столицу, и когда было решено переводить. В тот несчастный день он-то и дал приказ своему биржевому маклеру купить на десять миллионов рублей проклятых земельных облигаций, с покрытием всего лишь на один миллион шестьсот тысяч рублей — почти все денежные средства Полякова. Однако впереди ожидалось повышение курса облигаций, банковский кредит легко будет

погашен, отчислится огромная прибыль. И вот — все получилось иначе...

Приехав в Таганрог, Поляков остановился не в своем особняке на Греческой улице, он его не любил за мрачность и провинциальность. Он предпочел заехать в «Европейскую» гостиницу, содержимую немцем Гавихом, и здесь снял два смежных самых больших номера. Кроме того, на нижнем этаже была комната для его лакея француза Людвига.

Этот молодой и легкомысленный француз доставлял Полякову много хлопот и неприятностей. Он постоянно то встревал в какую-нибудь историю со служанкой в соседнем доме, то жаловался на недостаточную почтительность постовых городовых: Людвиг считал себя свободолобивым европейцем и видел в городовых главную опасность для европейской свободы. Вместе с тем Полякову очень импонировал французский язык лакея, производившего неотразимое впечатление на окружающих, особенно в русской провинции. И сейчас хозяин гостиницы толстый Гавих, пожалуй, с большим почтением обходился с завитым и напомаженным Людвигом, чем с его постаревшим и уже сутулым барином.

А Поляков боялся признаться себе в том, что с каждым месяцем ему все труднее становилось

содержать капризного и требовательного француза и выплачивать ему довольно значительное жалованье. Но Поляков скорее отказался бы от обеда, чем от возможности бросить при народе через плечо изящному молодому человеку в отлично сшитой тройке приказание на французском языке.

Уже в первое утро после приезда тайный советник вынужден был улаживать инцидент, виновником которого был все тот же Людвиг. Оказывается, он потребовал себе на первый завтрак порцию зернистой икры, но, видимо из-за плохого знания русского языка, не сумел толком объясниться, и ему подали паюсную. Рассерженный Людвиг швырнул тарелку с икрой в официанта, или, как тогда говорили, в «человека». Икра запачкала бороду и белую манишку пожилого, всеми уважаемого в гостинице работника. Половина людей, работавших на кухне и дежуривших в ресторане гостиницы, бросились с жалобой сначала



к Гавиху, а потом, увидев, что тот не склонен идти объясняться со знатным постояльцем, пошли на второй этаж к Полякову. Людвиг был уже здесь и успел выложить свою претензию: ему-де не хотят подавать к столу те кушанья, которые он требует, и вообще обращаются с ним не как с французскоподданным, а как с рядовым русским. Поляков досадливо от него отмахивался. Он ждал в это утро посещения своего бывшего управляющего имением Бересневского, имея в виду очень важный и нужный разговор. Какая икра?! Почему этот французик из Бордо размахивает перед его лицом руками и, грассируя, выкрикивает угрозы уйти с места?

А тут в комнату ввалились пятеро или шестеро номерных и официантов, при виде которых Людвиг пришел в окончательное неистовство.

— Зют! — в бешенстве крикнул Поляков своему лакею короткое, но выразительное словцо парижских предместий, обозначающее требование замолчать. — Еще слово — и я выселю вас с полицией на родину!

Людвиг, точно подавившись, замолк. Он до смерти боялся русской полиции, хотя и выказывал пренебрежение отдельным городовым. «Ля полис рюес» — это была почти мистическая угроза. Людвиг слышал немало страшных рассказов о

всемогуществе и длинной руке русской тайной полиции. Недаром в Париже, как он знал, сидел русский господин, директор департамента петербургской полиции или что-то в этом роде, Рачковский! Этого резидента русского царя побаивались даже и важные русские господа, попадавшие в Париж на зимний сезон.

Людвиг попятился и нырнул в дверь. А явившиеся с жалобой люди наперебой стали рассказывать Полякову об обиде, полученной их товарищем от этого сморчка. Поляков, довольный тем, что поставил наконец на место обнаглевшего лакея, заявил, что он его «строго накажет», и жалобщики, доверчиво глядевшие в рот этому важному старику, удалились успокоенные.

— Рак-калия! — еще чувствуя барственный гнев, молвил тайный советник.

И не совсем кстати в комнату протиснулся, чуть-чуть приоткрыв дверь, небольшого роста старичок в черном сюртуке, держа на отлете цилиндр, — бывший управляющий именем поляк Иосиф Модестович Бересневский.

— Низко кланяюсь, Яков Соломонович, — сказал Бересневский и действительно низко поклонился.

— Здравствуйте, здравствуйте, пан Бересневский, — величаво отозвался тайный

советник, уже давно научившийся этой барственной величавости. — Садитесь.

Не сядясь, посетитель осведомился о здоровье Полякова, при каждой фразе вежливо повторяя имя-отчество бывшего богача, от которого Бересневский за время своей службы управляющим утаил не одну тыщонку. Неожиданно Поляков поморщился и, прерывая Бересневского, брюзгливо сказал:

— Что это вы называете меня «Яков Соломонович» да «Яков Соломонович»? Называйте меня просто ваше превосходительство.

По чину своему тайного советника Поляков и в самом деле имел право на такое величание, но все же пан Бересневский несколько опешил. Как-никак он, Бересневский, был шляхтич, а этот старикашка — прогоревший еврейский торгаш и даже не крещеный. Денег у него, как твердо знал бывший управитель, осталось — кот наплакал, поэтому не поставить ли его на место? Но Бересневский рассудил, что корова, дававшая много молока, может и теперь дать, хоть и поменьше, — зачем же ссориться?

— К вашим услугам, ваше превосходительство! — воскликнул Бересневский и махнул перед Поляковым цилиндром, как его предки махали шляпами с пером.

Поляков сидел перед ним, развалившись в кресле. Он был в вышитом восточном халате с кисточками, из-под ворота выглядывала белоснежная кружевная, как у дамы, рубашка. На голове торчком сидела расшитая золотом тюбетейка. На ногах у бывшего железнодорожного воротилы были какие-то необычные туфли без задников, с задранными носами; все это — и халат, и туфли — подарил ему эмир бухарский, в свое время прибежавший к займам у русского миллионера на игру в рулетку. Козлиная борода и франтовски подстриженные усы (это-то Людвиг умел делать!) Якова Полякова были еще не совсем седые, с рыжинкой. Несколько выпуклые карие глаза печально, но с какой-то надеждой, глядели на Бересневского.

— Садитесь, — сказал, вздохнув еще раз, Поляков.

И Бересневский осторожно присел на кончик стула, поставив на пол цилиндр доньшком вниз. «Неужели попросит займы?» — испуганно подумал бывший управляющий имением, но Поляков небрежно спросил:

— Объясните мне: каким образом банк слопал мое имение? Там, сидя в Биаррице, я не понял. В конце концов, имение было всего лишь в

залоге, в обеспечение кредита. В какой сумме был залог?

Конечно, он и сам отлично знал, что заложил Крестьянскому банку свою Поляковку в сумме шестисот тысяч рублей, то есть в той сумме, которой на момент залога не хватало для покрытия задолженности банку, образовавшейся из-за падения облигаций. Конечно, знал он и ту нехитрую механику, которая позволяла банкам хищнически заглатывать заложенные имения. «Торги» проводились келейно, явившимся покупателям давались отступные — лишь бы ушел, и заложенное имение оставалось за банком в сумме залога. Поляковка стоила не менее чем полтора миллиона рублей, пошла же она в покрытие долга в шестьсот тысяч. Банк заглотал немалый кус! Впрочем, и сам Поляков, основатель банков, знаток «финансового» дела, не раз и не два практиковал эти нехитрые операции, наживаясь и давая наживаться своим компаньонам. Но теперь он стоял, так сказать, по другую сторону баррикады.

Бересневский внимательно посмотрел на своего бывшего шефа, желая узнать, не шутит ли тот, задавая столь наивный вопрос. Но Поляков, помимо всего, был превосходный актер. Никто никогда не умел угадывать по его лицу истинных намерений и мыслей. Он и на этот раз вежливо и

ожидающе сидел в кресле, точно задал какой-то невинный вопрос о погоде или о том, какая пьеса сегодня идет в театре. Бересневский, который считал себя знатоком настроений своего бывшего хозяина, растерялся. Может быть, и в самом деле, сидя там, в далеком Биаррице, на берегу лазурного моря, этот старый выжига и жуир не был в курсе дела? Может быть, и в самом деле Крестьянский банк, имевший в Таганроге филиал в помещении Государственного банка, сделал какую-то формальную ошибку? Но тогда Поляков обрушится на него, Бересневского, который до последнего момента был управляющим имением и обязан был проследить за ходом дела и поставить в известность шефа о допущенном промахе.

А тем временем Яков Соломонович сидел, задумавшись, с благосклонной улыбкой, и точно что-то вспоминал или даже о чем-то грезил. На самом же деле он в этот момент быстро соображал — он не потерял этой способности, — какие последствия могут иметь нарушения формы торгов заложенного имения. Прежде всего полагалась повестка о предстоявших торгах. Повестку-то ему прислали, по он уклонился от подписи, поручив расписаться Людвигу, который русским языком не владел и вывел свою фамилию — Сюшар — столь неразборчиво, что сам черт теперь не разобрал бы,

кому принадлежит кривой росчерк. Это — в порядке, на этом можно сыграть. Отрицать получение повестки — вот ключ к шкатулке!

Бересневский собрался с духом и чуть дрожащим голосом сказал:

— Як... то есть... ваше превосходительство! Никто не явился соревноваться, банк оставил именование за собой. Порядок вам известен, ваше превосходительство!

На этот раз титулование прозвучало немного иронически, но Поляков и бровью не повел (было время, и не так давно, когда, от движения одной его брови зависела судьба просителя, а их было немало!).

— Вы присутствовали на торгах? — ровным голосом задал еще вопрос Поляков.

— Присутствовал, ваше
превосходительство! — уже
отрапортовал Бересневский и вытянулся на своем испуганно
стуле.

Прожженного, но мелкого делягу беспокоила сейчас новая мысль. Заправила банка Нентцель сунул ему в день торгов сотнягу, причем смысл этого подарка был более чем ясен: Бересневский не должен был придирается к нарушению — такому обычному! — прав залогодателя, на этот раз — Полякова. Присутствовавший на торгах товарищ

прокурора Кретлов придрался было к неразборчивой расписке на обратном листке повестки, посланной в Биарриц Полякову. Он даже что-то сказал о желательности требовать удостоверения собственноручной подписи вызываемого владельца, но находчивый Нентцель возразил, что закон этого не предусмотрел. Бересневский смолчал, и торги пошли гладко. За неявкой соискателей имение было оставлено за банком в сумме залога с процентами, а всего в шестьсот тысяч двести двадцать три рубля семнадцать копеек. По окончании процедуры Нентцель позвал Бересневского в кабинет и сунул ему еще двести рублей. И вот теперь надо держать ответ!

— Соучастие в мошенничестве, — тихо, как бы с состраданием сказал Поляков. — Я не расписывался в получении повестки, любая каллиграфическая экспертиза это подтвердит. Вы не опротестовали мою подпись, хотя Ваше положение управляющего и доверенного лица вас к этому обязывало. Выходит, что тут мошенничество, как говорит закон, учиненное лицом, облеченным особым доверием, что наказуется особенно строго. Конечно, вас будут судить одновременно с этим жуликом Нентцелем, но ого могут оправдать, так как он в свою очередь доверился вам. Кстати,

сколько он вам дал? Если меньше десяти тысяч рублей — он просто свинья.

— Какие десять тысяч?! — воскликнул в бешенстве Бересневский. Он только сейчас сообразил, как ужасно продешевил, — Дал мне три сотни, пся крев!

Собственно, скрывать от шефа полученную взятку ему не было уже смысла. Может быть, даже выгоднее потянуть за собой взяткодателя Нентцеля, который иначе и в самом деле сошлется на свое заблуждение, возникшее из-за молчания управляющего именем.

Поляков одобрительно кивнул. Его бывший управляющий — человек с головой. Не стал запираться. Хотя это пока ничего не дает: Нентцель-то упрется, а доказательств взятки, кроме признания взяточника, нет. Этого недостаточно. Но все-таки — это кое-что! Поляков остался доволен сам собой: деловое чутье у него еще не выдохлось. Да, но как повести игру дальше? Другими словами: как добиться в кратчайший срок признания торгов на Поляковку недействительными, в результате чего к нему вернется имение и он сможет, уплатив банку долг, положить в карман около миллиона рублей. Можно начать крутить рулетку снова!

Кое-какие мысли на этот счет у Полякова были, но сейчас он не стал их открывать

Бересневскому. Он только строго и внушительно ему сказал:

— Учтите, что вы — в моих руках и сядете в тюрьму по первому моему заявлению. Будьте наготове: может быть, вы мне понадобится. Разумеется, для восстановления нарушенного права. Полное молчание! Если проговоритесь, я немедленно начну действовать против вас. Можете идти.

Старый банкир умел быть внушительным! Кланяясь и пятясь задом, как плохой актер в придворной пьесе, Бересневский, весь красный и потный, чуть было не забыв на полу цилиндр, исчез за дверью. Поляков встал и крикнул в соседнюю комнату:

— Людвиг, одеваться!

Тотчас в дверях появился французик с полным набором — сорочка, выутюженные брюки, визитка — через руку. Недаром Поляков тащил его за собой повсюду — Людвиг был незаменим.

Тщательно одевшись с помощью лакея и надушившись английским «Шипром», Поляков поехал на кровном рысаке из своей знаменитой конюшни к присяжному поверенному Яковенко. На козлах вместо кучера в кучерской одежде сидел самый ловкий наездник Полякова Кузьма Денисыч, который в трезвом виде был молчалив и строг, а в

подпитии любил хвастать, почему-то перенося все свои выдуманные приключения по ту сторону океана. «Иду это я по Америке с графом Татищевым и князем Панчулидзевым, — говаривал он развесившим уши молодым конюхам, — и вижу: стоит передо мной ихний президент в невыносимо блестящем мундире». Дальше шел путанный рассказ о том, как он выпивал с президентом и даже выиграл у того пари — кто придет в этом году первым на ростовском дерби.

Сейчас он был трезв, как памятник основателю лиги трезвенников, и величественно и впрямь очень ловко правил кровным норовистым жеребцом Богатырем-первым.

Превосходный экипаж работы петербургского мастера Евдокимова сиял на весеннем солнце посеребренными спицами и лаковой кожей. Выезд донес Полякова к дому Яковенко и замер: уж что-что, а Кузьма Денисыч умел осадить рысака у парадной двери, а что касается адреса Яковенко, то кто же в городе его не знал?

Присяжный поверенный Яковенко был почтенный и заслуживающий доверия юрист. Он жил одиноко, среди множества клеток с птицами. Два попугая в мрачной прихожей внимательно глядели на посетителей. Один из попугаев отлично

говорил, разве только чуть гортанно. Клиента, входящего в прихожую, он встречал не совсем тактично звучащей здесь фразой:

— Плати гонорар! Плати гонорар!

Бывало, что какой-нибудь мужичок из села Новониколаевского пугливо смотрел на птицу и рапортовал ей:

— Так что уже уплатимши!

Где-то в темном углу прихожей прятался старый лакей, в обязанности которого между прочим входило красить седые бороду и усы хозяина в смолянисто-черный цвет. На стук открываемой двери (в часы приема она не запиралась) старик лениво вставал со своей лежанки и молча тыкал корявым пальцем куда-то в сторону, говоря:

— Проходите!

Старые клиенты ко всему уже привыкли, а вновь появляющиеся удивлялись и даже пугались странностям дома. А Яковенко сидел в своем кабинете, по стенам которого висели желтые канарейки, и чижи, и соловьи, и еще какие-то птички, и величаво принимал клиентов. Он не гонялся за крупными гонорарами и вообще проявлял странное для тогдашнего адвоката равнодушие к деньгам. Да и то сказать: зачем они были нужны одинокому, старому и неприхотливому

человеку? Он не пил, не играл в карты, любовниц давно уже не держал, жены и детей у него не было. Впрочем, иногда, озорства ради, он «закидывался» и называл несуразную цифру...

«Человек» в прихожей равнодушно оглядел щегольскую фигуру тайного советника и молча ткнул пальцем, указывая на кабинет хозяина. Поляков, впервые появившийся в квартире Яковенко, с удивлением огляделся, сердито послушал дерзкого попугая и, кинув пальмерстон на руки «человеку», прошел, осторожно ступая по рваному коврику, в кабинет присяжного поверенного.

— Разрешите, Иван Яковлевич? — спросил он, входя в кабинет и несколько нервно ожидая каких-либо сюрпризов со стороны многочисленного птичьего царства, заключенного здесь в ряды клеток по стенам: может, еще и не то скажут?

Но птички, весело чирикавшие до того, смолкли с появлением гостя. Яковенко, сидевший за огромным столом, поднял от книги голову, похожую на голову Мефистофеля, и не очень дружелюбно уставился на франтовскую фигуру старика.

— Поляков Яков Соломонович, — нашел нужным представиться посетитель, ожидавший, что

его громкое имя сразу преобразит мрачную рожу хозяина в приветливо ослабившееся лицо.

Однако этого не случилось. Яковенко вежливо сказал «здравствуйте» и указал на стул перед столом. Поляков сел, чувствуя себя несколько выбитым из привычно самодовольного состояния.

— Имею к вам, как к знатоку наших законов, — церемонно начал Поляков, — один вопрос, разрешить который можете только вы.

Он замолчал, ожидая знаков одобрения или радости за столь лестное мнение. Но Яковенко равнодушно молчал, выжидающе глядя на Полякова. Поэтому тот, несколько сбившись, поспешил изложить суть вопроса. В самом ли деле обязателен вызов на торги владельца имения, если оно продается за невыкуп залога? Вот и все. Собственно, Поляков знал, что вызов — обязателен, для этого у него в его практике было достаточно примеров, но ведь уже несколько лет, как он отошел от дел, а правила так часто меняются!

Ничуть не удивившись вопросу, Яковенко равнодушно подтвердил:

— Да, вызов в этих случаях обязателен не меньше, чем, скажем, вызов в суд или к следователю. Есть еще вопросы?

— Нет, благодарю вас, — осанливо кивнул головой Поляков.

Он поднялся и полез в боковой карман визитки за бумажником. Однако Яковенко сердито сказал:

— Я за краткие советы... такого рода гонорара не беру. Детский вопрос!

Поляков с достоинством поклонился и вышел, проклиная в душе «этого нахала». Вместе с тем Поляков испытывал радость, узнав, что закон остался неизблем и что, стало быть, у него и в самом деле немалый козырь против разоривших его людей. Главным был, конечно, директор местного отделения так называемого Крестьянского банка, а в действительности — банка чисто помещичьего, немец Нентцель. Нет сомнения — в этих делах Поляков был силен, — что Нентцель устроил фальшивые торги на имение не ради обогащения банка, а для обогащения собственного. Мало ли путей «выкупа» и прочих способов оформления на свое имя оставленного за банком имения! Это и хорошо и плохо. Хорошо потому, что легче запугать лицо, чем учреждение. Плохо потому, что лицо будет больше держаться за миллион, чем банк. Но тут на помощь Полякову должно прийти некоторое тонкое обстоятельство...

Поляков, в пальмерстоне внакидку, быстро, молодо вышел на улицу и, садясь в свой роскошный экипаж, бодро крикнул Кузьме Денисычу:

— К генералу Клунникову!

Кузьма Денисыч сделал почти невидимое движение вожжами. Рысак понесся.

На этот раз Кузьма Денисыч что-то не рассчитал, и экипаж замер шага на три дальше внушительного парадного подъезда предводителя дворянства Таганрогского округа генерал-лейтенанта Клунникова. В рассеянности мыслей и чувств Поляков не заметил этого промаха.

— Подождешь, — бросил он, выпрыгнув из коляски и направляясь к двери, которую распахнул перед ним швейцар в ливрее.

— Дома? — на ходу спросил Поляков.

— Так точно, дома, ваше превосходительство, — почтительно доложил швейцар, принимая на руки сброшенный Поляковым пальмерстон. — Пожалуйте наверх.

Поляков, одернув модную кургузую визитку, почти без одышки поднялся по широкой лестнице на второй этаж, где с почтительным поклоном пожилой лакей провел его в приемную предводителя.

«Посмотрим, посмотрим, заставит ли этот старый дурак меня ждать», — подумал Поляков, шагая по голубому французскому ковру приемной. Но нет, ждать его не заставили.

Массивная белая дверь с позолотой распахнулась — и на пороге показалась солидная фигура в серой генеральской тужурке. Четырехугольное лицо с крупным носом и бобрчком стриженными густыми седыми волосами было сейчас полуопущено в вежливом поклоне. В конце концов, согласно табели о рангах, и хозяин и посетитель были в равных чинах: хозяин — генерал-лейтенант, а гость — тайный советник, оба — особы третьего класса, оба — обладатели ряда привилегий, в том числе — права требовать выезда всего состава суда к себе на дом, коли суд пожелает их допросить как свидетелей.

Однако сверх всего Клунников был предводитель дворянства, а Поляков — дворянин в силу полученного чина, но... Да, здесь было очень серьезное «но».

Витте в своих воспоминаниях писал: «...Яков Поляков кончил свою карьеру тем, что был тайным советником и ему даже дали дворянство, но ни одно из дворянских собраний не согласилось приписать его в свои дворяне...» В какой-то степени это было верно, но и на этот раз в своих мемуарах Витте не совсем точен. Таганрогские дворяне и вот этот самый генерал Клунников, их предводитель, уже давно согласились приписать Якова Соломоновича «в свои дворяне». Это случилось еще в годы

расцвета Полякова, когда Чехов в рассказе «В вагоне» упомянул его как некий эталон богатства (1881 год). Во всяком случае, приписка в таганрогское дворянство стоила Полякову много несчитанных денег. Взял куш Клунников, тогда еще войсковой старшина (казачий полковник), взяли и еще с десятков влиятельных членов Дворянского собрания. Деньги давались «на благотворительные цели», вот только никто не выдавал расписок. Дворяне верили друг другу на дворянское слово! Единственно, о чем просил Клунников вновь принятого дворянина, — не разглашать этого принятия. Особенно Клунников побаивался областного предводителя дворянства Области войска Донского генерала Грекова: тот мог бы устроить Клунникову разнос. Поляков и помалкивал: ведь для него принятие в дворянство данной области или округа имело лишь формальное значение. Приписка к определенному месту нужна была: иначе его дворянство повисло бы в воздухе. Но не больше того. Так почему же сегодня дворянин Поляков пожаловал к нему, Клунникову, и что он от него хочет? Этот вопрос был генералу тем более неприятен, что о разорении Полякова — конечно, относительно — в Таганроге было широко известно: стало быть, на поляковские деньги нечего

больше рассчитывать. Чего же он хочет? Может быть, все-таки афишировать свою приписку?!

— Прошу ваше превосходительство садиться, — вежливо пригласил хозяин гостя, подставляя ему стул на подагрически изогнутых ножках.

— Благодарю, ваше превосходительство, — поклонился Поляков с парижским изяществом и уселся.

Клунников вопросительно посмотрел на Полякова, но тот молчал, вежливо дожидаясь, чтобы хозяин первым начал разговор.

— Отличная держится погода, — нетвердым голосом сказал генерал-лейтенант.

— Да? — довольно небрежно отозвался тайный советник. — А я даже, признаться, не заметил.

— Весна, — внушительно вздохнул Клунников.

— Да какая же это весна, — снова строптиво отозвался Поляков. — Вот в Париже в это время... действительно Весна. Все бульвары расцветают.

— Пожалуй, в таком случае не стоило и уезжать, — довольно ехидно вставил Клунников.

Поляков внимательно посмотрел на него.

Он знал, что Клунников крепко играл в карты и иногда бывал в весьма крупной «запарке», как

говаривали игроки. Сердитые складки у генеральского рта и мрачные огоньки в маленьких злых глазах говорили о сильном проигрыше. Генерал был явно расстроен. «Сейчас ты клонешь!» — сразу решил Поляков и начал плести паутину.

— Продали здесь с торгов мою Поляковку... Слыхали? — небрежно спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Продал банк, с грубейшим нарушением процедуры. Я был в Биаррице и не получил ни малейшего извещения! А между тем я легко бы мог, знай я заранее о назначении торгов, погасить залог.

«Черта с два, — подумал со злорадством генерал. — Откуда у тебя сейчас шестьсот тысяч?!»

Не обращая внимания на язвительное выражение генеральского лица, Поляков продолжал:

— Я уже советовался с адвокатом. Торги явно недействительны. И я легко добьюсь возвращения мне имени!

— Очень рад, — сухо сказал генерал, начиная терять Терпение, — но при чем тут я? Я хотел сказать: чем я-то могу помочь?

— Я обращаюсь к вам как дворянин к предводителю дворянства! — торжественно и даже патетически произнес Поляков.

Сердце у Клунникова екнуло: этого еще не доставало! Мало того, что вчера в клубе какой-то

хлюст сорвал у него банк и он остался без денег, задолжав вдобавок старосте клуба несколько тысяч, — тут еще вот эта неприятность. Чего доброго, этот сукин сын полезет и в Новочеркасск — будет тогда кутерьма с генералом Грековым!

— Но, право же, — молвил, откашливаясь, Клуников, — я что-то не возьму в толк, какое, собственно, имеет отношение высокое сословие дворянства к торгам на имение?

— Ваш зять Генрих Генрихович Нентцель, — твердо заявил Поляков. — Вам должно быть известно, что именно он является директором в таганрогском отделении Крестьянского банка.

— Ну и что же? — слабым голосом спросил Клуников, понимая, что попал в цепкие руки.

Поляков в ответ только усмехнулся.

— Генрих Генрихович, наверно, отлично понимает, что именно воспоследует из неправильного проведения торгов на имение, стоящее около двух миллионов рублей, — небрежно пояснил он. — Я убежден, что, обратись я как дворянин к защите предводителя дворянства Области войска Донского генералу Грекову...

Клуников слабо охнул и замахал руками.

— Нет, нет! — воскликнул он жалобным голосом. — Я сам поговорю с Генрихом!

— А я облегчу ваш разговор, — поспешно сказал Поляков.

У него из головы не выходило, что, в конце концов, у этого немчуры Нентцеля лежит расписка Людвига в получении повестки на торг. Правда, тот расписался нарочито неразборчиво. Нарисовано было что-то вроде гоголевского «Обмокни». Но все же чем черт не шутит! «Маленькая рыбка лучше большого таракана» — этой поговоркой Поляков руководствовался всю жизнь. Он продолжал:

— Конечно, я могу рассчитывать на любезную и бескорыстную помощь вашего превосходительства? Я попрошу вас передать вашему уважаемому зятю, что я решил ограничиться, разумеется при мирном окончании дела, всего лишь половиной той суммы, которая недополучена мною за имение. Скажем, это составит пятьсот тысяч рублей. Вторую половину миллиона, недобранного мною, я оставляю благоприобретателю.

Поляков нарочно выбрал столь неопределенное выражение — «благоприобретатель», чтобы дать понять, что он легко допускает, что имение захапал лично Нентцель.

Столь же любезно он продолжал:

— Помимо того, я попрошу ваше превосходительство при окончании сделки принять от меня на нужды благотворительные, скажем, тридцать тысяч рублей. В пользу нуждающихся дворян.

— Пятьдесят, — быстро отозвался генерал, — нуждаемость велика.

— Да, да, я именно хотел сказать — пятьдесят, — быстро согласился тайный советник и поднялся. — Я остановился в «Европейской», благоволи́те прислать ко мне человека, если для переговоров... или для окончания их потребуется мое присутствие. Имею честь!

Генерал в свою очередь вскочил и звякнул шпорами. Настроение у него сразу поднялось. Он знал своего зятя и его воровские повадки, да и деньги что-то уж очень большие тот стал в последнее время тратить на певичек. Стоит, стоит дать ему ассаже! Ну, и, конечно, избежать неприятнейших объяснений в Новочеркасске по поводу приписки к донскому дворянству. А пятьдесят тысяч — это совсем хорошо.

Оба генерала — военный и штатский — простились весьма сердечно. Потом Поляков велел Кузьме Денисычу прокатить себя по Петровской и, вдоволь покрасовавшись, вернулся в отличном расположении духа в гостиницу и приказал

Людвигу подать себе на второй завтрак осетринки, превосходной и неповторимой таганрогской осетринки.

После сытного завтрака, похвалив Людвига за хорошую и быструю сервировку, разомлевший тайный советник лег отдохнуть. Он сразу заснул и видел себя во сне молодым и полным задора, за «деланием» своего первого миллиона.

Генерал немедленно после ухода Полякова отправился в банк к зятю и, запершись с ним, рассказал о своей встрече с владельцем имения, причем, будучи человеком неделовым, сразу же открыл все свои карты и слишком в лоб попытался взять крепость. А Нентцель был крепенек! Этот молодой человек с коротко подстриженной каштановой бородкой а-ля Анри Катр внимательно выслушал тестя, о вчерашнем проигрыше которого уже знал, и, выслушав, задал только один вопрос: сколько именно Поляков предложил куртажа генералу? Клунников сначала назвал двадцать тысяч, потом тридцать и скоро сознался в пятидесяти.

— Это — настоящая цена, — спокойно сказал Нентцель, рижский немец истинно русских убеждений. — Видите, к чему приводит наше доброе отношение к евреям? Они садятся нам, русским, на голову. Нет, дорогой мой тесть, на этот

раз вам не видать этой полсотни тысяч. Я попробую побороться с шантажом.

В душе генерал простодушно подумал, что, пожалуй, тут нет со стороны Полякова никакого шантажа, он лишь добивается восстановления законности, но горечь в генеральской душе от потери куша оказалась сильнее других переживаний, и Клунников, ничего не добавив, мрачно побрел домой.

А Нентцель, не теряя ни минуты, послал за Бересневским, который, как он знал, в это время дня всегда находился в бильярдной при гостинице грека Кумбарули и здесь ловил фраеров, завлекая их в игру на интерес. Бересневский не замедлил явиться.

— Это не его подпись. Но не может быть, чтобы Поляков поручил расписаться на обратном экземпляре повестки кому-нибудь постороннему, — терпеливо объяснял Бересневскому Нентцель. — Это было бы опасным. Нет, видно, что расписался свой человек. Кто бы это мог быть?

Нентцель полез в небольшой сейф, стоявший у него в кабинете, и вынул расписку.

— Смотрите, — внимательно разглядывая подпись, продолжал Нентцель, — разобрать подпись нельзя, но ясно, что она сделана иностранцем: видна латинская буква «S» —

начальная буква фамилии. Остальные буквы как бы нарочито искажены, и их разобрать невозможно.

— Фамилия его лакея — Сюшар! — воскликнул Бересневский.

— Теперь все более или менее ясно, — с удовлетворением сказал Нентцель. — Надо вырвать у этого Сюшара признание, что барин ему поручил расписаться, — и дело в шляпе. Постарайтесь получить это признание в письменной форме, а лучше всего — у нотариуса. Ну, что будет стоить — пожалуйста. Вот вам на первый случай... Будет вознаграждение еще.

Говоря так, Нентцель отсчитал три сотни и протянул их Бересневскому.

Как опытный человек, Бересневский попытался воздействовать на франтоватого француза лакея с позиций, так сказать, психологических. Придя в гостиницу «Европейскую», пан Бересневский отозвал Людвига и жестами, мимикой и десятком французских слов, известных ему, внушил французу мысль о страшной опасности, нависшей над ним. Полиция следит! Он подделал подпись на повестке! Он подписался вместо хозяина — это подлог! Десять лет (Бересневский показал сначала десять пальцев, а потом несколько пальцев, сложенных в виде решетки), по меньшей мере десять лет каторжных

работ ожидают Люи Сюшара за это тяжкое преступление. Таковы законы этой страны! Такова местная полиция!

Бересневский заметил, что при слове «полиция» Людвиг бледнел и дрожал мелкой дрожью. Доведя его до нужного градуса, Бересневский повел лакея в нотариальную контору, и здесь в присутствии присяжного переводчика бедняга объяснил, что он ни в чем не виноват, что какую-то бумагу, написанную на неизвестном ему русском языке, он, Сюшар, подписал по просьбе своего хозяина, и притом подписал неразборчиво и тоже по прямой его же о том просьбе: смертный приговор надеждам Полякова.

В этом через два дня убедился и Поляков. В первых, он остался без лакея, который в категорической форме, без объяснения причин, попросил расчет и назавтра укатил за границу, а во вторых, Полякова постигло разочарование более серьезное. Попытка кончить миролюбиво не вышла. Нентцель решительно отказался от переговоров, о чем с грустью сообщил Клунников, прося Полякова «как дворянин дворянина», не ездить в Новочеркасск к генералу Грекову. А это меньше всего входило в планы тайного советника!

Поляков поехал не к Грекову, а к прокурору, надеясь хотя бы там найти сочувствие и поддержку,

но именно там уже подготовленный Нентцелем к беседе прокурор показал ему нотариально заверенное объяснение лакея. Все было потеряно. Выходило, что тайный советник был отлично осведомлен о торгах и к тому же пытался обмануть банк — малопочтенное поведение для основателя двух банков!

Последний визит мрачный и злой Поляков сделал к присяжному поверенному Яковенко.

Попугай по-прежнему встретил Полякова возгласом «Плати гонорар!», заспанный лакей снова проводил, вернее — показал на кабинет грязной ручищей, и по-прежнему же Яковенко принял клиента не очень-то любезно. На этот раз, разъяренный неудачами, тайный советник обрушился на своего советчика:

— Вы, милостивый государь, дали разъяснение, что для действия торгов требуется подпись владельца, но оказалось, что достаточно и подписи его лакея. Что это — невежество или насмешка?!

Яковенко поднялся из-за стола и молча направился, как показалось Полякову, к нему. Поляков попятился. Однако Яковенко спокойно приблизился к стене, увешанной клетками с птичками, и какой-то палочкой с крючком на конце помог одной из пленниц освободиться от

придавившей ее деревянной решеточки, вышедшей из гнезда. Потом, так же молча, Яковенко вернулся на свое место и спокойно сказал:

— Я вам совершенно правильно разъяснил, что вызывная повестка владельцу имения обязательна. Больше ни о чем вы меня не спрашивали. Если бы вы спросили, кто именно вправе подписать обратный экземпляр повестки, я бы ответил: вправе, помимо владельца, также и близкие ему люди, как-то: живущие с ним родственники, швейцар, камердинер, лакей и старший кучер.

— Старший? — несколько ошалело переспросил Поляков.

— Именно старший, — равнодушно ответил Яковенко. — Так разъяснил сенат. Поскольку же подобного вопроса задано не было, а я отнюдь не обязан информировать клиента о содержании всех четырнадцати томов «Свода законов», то ваше неудовольствие мне кажется странным. Впрочем, на мои действия вы можете принести жалобу в новочеркасский совет присяжных поверенных.

«Опять Новочеркасск!» — неприятно удивился Поляков и, круто повернувшись, направился к выходу.

— Погодите, — столь же ровным голосом остановил его адвокат, — на этот раз, ввиду

повторности обращения и необходимости более широкой консультации, вам придется уплатить гонорар...

Он немножко подумал и назвал цифру, которая показалась Полякову по меньшей степени издевательской:

— Двести пятьдесят рублей.

Увидя неудовольствие и даже растерянность на лице клиента, Яковенко столь же равнодушно добавил:

— Впрочем, если состояние ваших дел таково, что внесение этой суммы для вас затруднительно, я готов и на этот раз оказать вам бесплатную юридическую помощь.

Как бы дожидаясь этой реплики, птички вокруг насмешливо засвистали и зачирикали. Поляков дрожащими руками отсчитал двести пятьдесят рублей и положил кредитки на стол...

Консул республика Эквадор

Греческий мужской монастырь, старинное мрачное здание с большим подворьем, был основан в Таганроге богатым греком Варваца.

Против монастыря в центре площади стоял за чугунной оградой памятник «Александрю Благословенному» работы Мартоса. У ног чугунного императора крылатые ангелы символизировали «ангельский характер» Александра Павловича, который, как известно, «всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге».

В пасмурный ноябрьский день 1825 года набальзамированное тело умершего царя, перед отправкой в Петербург, ненадолго перенесли в монастырскую церковь. Гнусавый монашеский хор пропел приличествовавшие обряду печальные песнопения.

С того дня прошло много десятилетий. Но седобородые настоятели никогда не забывали в пышных посланиях к щедрым жертвователям упомянуть о прощальном визите, нанесенном монастырю умершим императором. А со временем дело было повернуто уже таким образом, что за монастырской оградой будто бы похоронены сердце и желудок царя.

Доброхотные приношения купечества текли в монастырскую кассу неиссякаемым ручьем.

За полукруглым, подковой, фасадом вмещались десятки келий, тесных, душных, с одним узким окном каждая. Послушники и монахи попроще, из беглых греческих солдат или матросов, жили в келье по двое и по трое. Монахи пообразованнее, а тем более немногочисленные иеромонахи, то есть монашествующие, имевшие одновременно и священнический сан, располагались комфортабельно, по одному.

Иеромонаху отцу Даниле было тогда года тридцать два. Его черная, слегка курчавившаяся борода мягкими волнами спадала на шелковую рясу. Длинные кудри вились до широких размашистых плеч. Черный цилиндрический клобук увеличивал и без того молодецкий рост отца Данилы.

В монастыре он появился незадолго до первой мировой войны и, снискав за короткий срок своим веселым, общительным нравом множество знакомых и друзей, сделался желанным гостем в именитых домах.

Богатые греки потчевали его многослойной баклавой и приторным вареньем из роз, армяне — сухим сладким и душистым печеньем — «курабья». Студентов и мелких служащих он сам угощал в

своей келье, всегда заводил при этом острый разговор о царском режиме...

Перебирая кипарисовые четки, висевшие у пояса, монах приветливо улыбался красиво очерченным ртом с всегда влажными ярко-красными толстыми губами; в его больших карих глазах пряталась хитринка.

Робея в суровых монастырских стенах, почтенные биржевые маклеры и негоцианты, а за ними и их сынки входили в монашескую келью, оглядываясь по сторонам и ожидая увидеть голые доски вместо кровати и ту самую таинственную власяницу, о которой слыхали в школе и при помощи которой, как известно, святые изнуряли свою бунтующую плоть.

Но не было досок и не было власяницы. В келье стояла широкая кровать с высоко взбитой периной и несколькими большими пуховыми подушками. Вышитый коврик висел на стене у кровати. Множество красочных открыток, прибитых над изголовьем, говорили о художественных наклонностях хозяина кельи. На открытках были изображены пышные развалины Афин, портреты королей и премированных красавиц. У окна стоял ломберный стол, обычно занимавший немного места, но заполнявший полкомнаты, когда его

раздвигали и приводили в боевую готовность и когда вокруг усаживались азартные картежники.

Карточная игра в келье началась с невинного преферанса, затеянного однажды, по просьбе гостей. По-видимому, совершенно случайно у отца Данилы нашлась новенькая колода карт. Мало-помалу келья Данилы стала излюбленным приютом для картежников, опасавшихся слишком широкой огласки своей страсти или по каким-либо другим причинам избегавших посещения игральные комнат Коммерческого клуба. С начала первой мировой войны игра пошла особенно крупная: у таганрогских дельцов завелось много лишних денег.

В пасхальную ночь 1916 года в келье греческого монастыря, как и еженощно, играли в «девятку»; банк с неизменным счастьем метал отец Данила, которого таганрожцы, любившие прозвища, уже называли «Патер».

Иеромонах сидел за широко раздвинутым столом, красный, потный, с всклокоченными волосами. Закатав высоко рукава шелковой рясы и оголив волосатые руки с мощными бицепсами, Патер метал банк: в левой руке он держал толстую, сдвоенную или даже строенную колоду карт, а правой сдавал по одной карте — партнеру, себе, снова партнеру и снова себе. Потом колоду клал на тарелку и, обеими руками схватив свои две карты и

близко держа у глаз, медленно вытягивал одну из-под другой.

Вокруг сидели, стояли, тяжело дыша, «мазильщики» и с острым нетерпением следили за руками банкмета, выжимавшего «очки». Увы! Резким движением, рождавшим в партнерах отчаяние, отец Данила клал на красное сукно стола свои карты с торжествующим возгласом;

— Девять!

— Где ты, Данилка, покупаешь карты? — ехидно спрашивал высокий студент-юрист Миша Шнейдеров, проигравшийся в прошлый раз дотла и сегодня присутствовавший просто из любви к делу.

Не отвечая, отец Данила, подняв полу рясы, совал выигрыш в бездонные карманы подрясника.

За окном стояла темная весенняя ночь. Одинокий фонарь в скверике напротив монастыря мигал на резком ветру. Сквозь закрытые ставни в келью доносились с улицы голоса, изредка слышался приглушенный девичий смех.

Колода в руках отца Данилы продолжала свое опустошительное шествие от партнера к партнеру.

— Сто в банке! — объявил Патер.

Все зашевелились. Федя Красса, скромный служащий частного коммерческого банка, положил на стол последнюю трешницу, которую перед тем

долго сжимал в потной от волнения руке. Триста рублей наградных, так неожиданно, так волшебным перепавшие ему от самого министра финансов, на этой трешнице кончались.

Оказавшись в Таганроге проездом, министр Коковцев посетил здешний Азовско-Донской коммерческий Директор банка, старый грек Хордалло, страдавший эпилепсией, временно исполнял также и обязанности директора Донского земельного банка, помещавшегося в первом этаже здания. От скуки сановник пожелал, чтобы ему представили служащих обоих банков. Чиновники заходили по одному в кабинет Хордалло, который, завидя очередного работника, бубнил под нос:

— Нашего банка...

Или:

— Земельного банка...

Директор беспокойно ерзал в кресле, каждую минуту ожидая, что шествие чиновников оборвется. До слуха его дошло, что кое-кто из банковской молодежи агитирует против этого «парада-алле», якобы оскорбительного для их человеческого достоинства.

Министра клонило после сытного завтрака ко сну. Он рассеянно жал руку очередному чиновнику, прислушиваясь к нараставшей после паюсной икры изжоге.

Вошел Федя Красса, высокий лысеющий молодой человек, с тусклыми глазами и с огромными усами, закрученными бубликом. Непомерно большие усы, шевелившиеся на глупой Фединой роже, как живые, вывели министра из дремы. Он явственно услышал слова директора Хордалло:

— Красса — нашего банка.

Министр оживился и долго жал руку ошеломленному Феде:

— Такой молодой — и уже краса банка! Поздравляю, поздравляю.

Усатому Феде по распоряжению министра выплатили наградные. И вот теперь эти триста рублей, свалившиеся с неба, попали в карман к Патеру.

«А вдруг отыграюсь?» — с надеждой подумал Красса, следя за тем, как мечет новую талью отец Данила.

Дверь скрипнула, и в келью вошел старый монах. Положив уставный поклон, он сказал что-то отцу Даниле по-гречески. Одновременно на колокольне монастыря ударили к заутрене. Басом заговорил тяжелый колокол, весело вторили ему переливчатым звоном колокола поменьше.

Патер воскликнул с досадой, швырнув карты на стол:

— Отец Паисий заболел, придется мне служить пасхальную заутреню!

— Ты, Данила, там не тяни... — взмолились проигравшие. — Поскорее возвращайся!

Отец Данила надел перед зеркалом клобук и молча вышел. Старый монах, скорчив уморительную рожу, подмигнул игрокам и ушел следом.

Студент-юрист и бледный молодой человек в визитке, не сказавший за весь вечер ни одного слова и только молча проигравший Патеру все ставки, принялись, не сговариваясь, лихорадочно рыться в колодах, рассыпанных по столу. Они считали и вновь пересчитывали карты. Остальные игроки, поняв, к чему клонится дело, следили за ними, не отрывая глаз. Федя Красса испустиленно молился в душе: «Господи, дай, чтобы он оказался шулером. Господи, дай!»

— Все правильно, лишних карт нет, — разочарованно сказал наконец студент, вставая.

— Крапленых тоже нет, — подтвердил со вздохом молодой человек в визитке, — игра велась чистая.

«Я пропал!» — с отчаянием подумал Красса.

В этот момент в келье появился новый гость: неправдоподобно худой человек самоуверенного вида. Лысая голова его походила на сплюснутую по

бокам тыкву, узким концом вниз. Нездоровая желтизна лица усиливала сходство. Это был Гирейханов, адвокат по паспорту, ловкий биржевой делец по профессии. Игроки почтительно поздоровались с новым гостем.

Гирейханов числился консулом южноамериканской республики Эквадор, хотя едва ли представлял ясно, где она находится. Удивляться этому странному назначению не следовало: ради того, чтобы написать на своей визитной карточке пышное слово «консул», местные богатые негоцианты не жалели денег. Затраты с лихвой окупались укрупнением банковского кредита и перспективой прибить к двери своего особняка массивный геральдический герб иностранного государства.

Почетное назначение выхлопотала Гирейханову его приятельница, жена директора-распорядителя таганрогского кожевенного завода мадам Плисьне. Она не хотела, чтобы ее муж кичился перед другом ее сердца своими консульскими регалиями: ведь мосье Плисьне был не только директором завода, но и бельгийским консулом.

Консульские обязанности не слишком обременяли директора завода, хотя подавляющее большинство инженеров и техников были здесь

бельгийскими подданными. Все они, не в пример русским служащим, получали огромные оклады; уже дважды кое-кто из их среды доносил о готовящейся забастовке и выдавал зачинщиков, заслужив уважение начальства. В защите консула никто из них не нуждался. С этой стороны для мосье Плисьне особых забот не было. А что касается завода, то Гирейханов сделался там своим человеком. Огромное по тем временам жалование — тридцать шесть тысяч рублей в год — ш-прежнему получал дряхлевший директор-распорядитель Плисьне, но фактически распоряжался его именем уже Гирейханов, наживший на дефицитнейшей подошвенной коже огромное состояние. Рабочие прозвали Гирейханова «гадючьей глистой»...

В монастырской келье тощий король кожи чувствовал себя, по-видимому, как дома. Пальто и шляпу он сбросил на постель Патера.

— Где Патер? — спросил он, ни к кому в отдельности не обращаясь.

— Служит заутреню, — подобострастно доложил Федя Красса. Он лелеял в душе смутную надежду выпросить у богатого банковского клиента трешницу и, как говорили игроки, «раздуть кадило».

— Хорошо
быть монахом, —
вздыхнул с искренней
завистью молодой
человек в визитке,
тасуя карты, — и в
очко им везет, и в
армию их не берут.

— Вас ведь
тоже не берут, —
процедил сквозь зубы
Гирейханов.

Молодой
человек вздохнул еще
раз.

— Меня не
берут, но за это у меня
берут... — мрачно
пробормотал он себе
под нос.

— Одолжите пять рублей! — умоляюще
зашептал на ухо Гирейханову Федя Красса,
воспользовавшись тем, что в игре наступила
пауза. — Ей-богу, отдам, Карп Емельянович!

— Где же Патер? — с беспокойством снова
спросил Гирейханов, отмахиваясь от Феди.



— Он нарочно заутреню тянет! — раздались голоса. — Обыграл нас — и не хочет возвращаться. Безобразие!

Но отец Данила уже входил в келью. Швырнув клубок на кровать, он с веселой, радушной улыбкой приветствовал гостя.

— Добрый вечер, добрый вечер, — говорил он, обеими руками пожимая костлявую ладонь Гирейханова, — калиспера, Карп Емельянович!

— Калиспера, калиспера, — морщась от боли, хлипкий Гирейханов с трудом выдернул руку из медвежьих лап монаха. — Есть с тобой, Патер, разговор.

— А когда же мы будем играть? — взволновались партнеры. — Что такое? Скоро и по домам пора!..

Действительно, щели закрытых ставен уже побелели. Вдали заиграла гармонь; кто-то запел пьяным голосом. Праздничное утро уже началось.

— Сейчас, сейчас, — говорил Гирейханов.

Он встал и, отведя Патера в сторону, зашептал:

— Слушай, Данилка, можно тут у вас положить на некоторое время кожу? Не много, один вагончик. А?

— Мозно, — быстро ответил Патер, сразу посерьезнев. Он облизнул толстые красные губы.

— А где ты ее спрячешь? — озабоченно спросил Гирейханов. — Имей в виду, это — подошва. Запах!

— Спрячу в подвале.

— Надолго?

Гирейханов подумал.

— На несколько дней. Процентов на пятьдесят вскочит в цене — и ладно. Тебе — половина разницы.

— А настоятель?

— Хватит и тебе и настоятелю.

— Хорошо, — твердо сказал Патер, протягивая руку. Карп Емельянович горячо пожал ее.

Гирейханов переживал за последние месяцы весьма тягостное чувство коммерсанта, убеждающегося в необыкновенной убыточности всех его прибыльных дел. Он продавал кожу по сто рублей за пуд против десяти, которые он платил в кассу завода, но через неделю кожа на рынке стоила двести. Царской армии требовалось много подошвы, а производилось ее на заводах слишком мало. Гирейханов продавал следующую партию по двести рублей, но через пять-шесть дней ему самому спекулянты предлагали кожу по четыреста. Оказывалось, выгоднее было не продавать товар, припрятать, придержать подольше, содрать

побольше. С другой стороны, у Гирейханова были особые, так сказать, специальные причины торопиться вывезти с завода «купленную» кожу. Мысль использовать под тайные склады обширные монастырские подвалы, где бы в тиши, подальше от любопытных и недобрых глаз, без всяких усилий зрели ото дня ко дню огромные прибыли, осенила дельца. Он поспешил в монастырь...

Обнявшись, как братья, Патер и консул республики Эквадор подошли к карточному столу, где их с нетерпением поджидали игроки. Гирейханов бросил пятирублевую бумажку просиявшему Феде Красса. Не желая отставать, отец Данила дал ему вдвое. Игра началась заново.

На этот раз наряду с Патером фаворитом игры оказался Федя. Патер выигрывал ставки у всех; особенно нещадно он бил карты Гирейханова. Но, в свою очередь, монах неизменно проигрывал усатому Феде.

Через полчаса, спустив все наличные деньги, Гирейханов играл уже на свою долю в предстоящей «разнице» в ценах вагона подошвенной кожи. Впрочем, такие ставки принимал от него один Патер, остальные вежливо, но твердо признавали лишь наличность.

— Пять процентов моей доли в прибыли, — многозначительно шептал Гирейханов отцу Даниле.

Патер кивал головой в знак согласия, сдавал себе и Гирейханову карты, подносил их к глазам, осторожно раздвигал и затем со стуком опускал на стол руки ладонями вверх.

— Девять! — Потом он поворачивался к Феде Красса. — В банке тысяча! — говорил он, вытаскивая из кармана деньги.

— Крою, — неизменно отвечал Федя сдавленным от волнения голосом.

Он давно отыграл свои триста рублей и уже сам не знал точного счета выигрыша. Перед ним лежали смятые пачки кредиток.

Патер неуверенной рукой сдавал карты, с тоской ожидая неудачи. Он не ошибался: Федя забирал у него ставку за ставкой...

Игра теперь шла, по сути дела, только между Патером, Гирейхановым и Федей.

— Пять процентов разницы, — поспешно сказал консул: ему показалось, что на этот раз банкومت Патер обходит его картой.

— Нету, эмаста, процентов, нету разницы, — вежливо отозвался монах, утешая сам себя мыслью, что если он проиграл наличные деньги, зато выиграл всю будущую прибыль от крупного и абсолютно надежного предприятия.

— Как нету? — испуганно спросил Гирейханов.

— Нету! Ни одного твоего процента нету, все теперь у меня!

— Ну, это мы еще посмотрим, — вдруг сказал с откровенной наглостью консул Эквадора, вставая и с шумом отодвигая стул.

— Почему посмотрим? Зачем посмотрим? — загремел отец Данила, вскочив в свою очередь и бросив на стол карты, разлетевшиеся веером.

Назревал, по-видимому, скандал. Федя испуганно сгреб свои деньги и с лихорадочной поспешностью стал рассовывать по карманам. Спотыкаясь, он бросился наутек. Партнеры взялись за шапки.

— Неудобно, неудобно, — озабоченно говорил Гирейханов, подвигаясь к двери, — святое место, монастырь, и вдруг — в подвалах какая-то кожа, спекуляция... Что скажут у нас, в Эквадоре?

Огромный, грузный монах легко, как мальчик, подбежал к коварному гостю, однако «гадючья глиста» увернулся с неожиданной ловкостью и оказался уже за дверью.

— Безобразие! В святую ночь в карты играет. Хорош монах! — донесся из гулкого коридора его удаляющийся голос.

Отец Данила застонал от ярости. Он понял, что консул республики Эквадор пошел искать другой приют для своего драгоценного товара,

источающего сладостный аромат крупного денежного куша...

Гирейханов искренне презирал не только таганрожцев, как жалких провинциалов, но и Таганрог. «Что это за город, в котором нет даже порядочного кафешантана?!»

Таганрожцы представлялись ему смешными, отставшими от жизни людьми, не слыжавшими о настоящей жизни, когда мужчины даже спят во фраке и все сплошь разочарованы в любви.

Консулу было уже за сорок, он высох, как мумия, но и он мечтал. Мечты его были о богатстве, сказочно огромном богатстве.

Гирейханов шагал по щербатому тротуару вдоль молчаливых одноэтажных особнячков и вспоминал обманутого им Патера с насмешкой: «Не будь простофилей!» Но сейчас это — в сторону, сейчас надо найти верное пристанище для все той же подошвенной кожи. Да, прибыль прибылью, а товар надо было вывезти со склада немедленно: в городе становилось беспокойно, рабочие «бунтовали». Чего уж лучше? Большевистская группа завода, Эвакуированного сюда из Прибалтики, выпустила листовки:

«Уже третий год тянется кровавая бойня, никому не нужная, кроме заводчиков и прочих пиявок, присосавшихся в народу...»

А вчера на кожевнном заводе неизвестной рукой листовка была наклеена на стене проходной, а рядом с ней — довольно похожая на Гирейханова карикатура с надписью: «Вот это самая гадючья глиста и есть. Ему война на пользу!»

«Еще, чего доброго, подожгут склад или воспрепятствуют вывозу! — с тревогой думал Гирейханов, покинув негостеприимные монастырские стены. — С Патером не вышло, должно выйти в другом месте, и как можно скорее!»

Не доходя до базарной площади, Гирейханов свернул в переулок и вскоре вошел в один из дворов. Теперь его мысль работала в новом направлении: «Если на то пошло, кожу надо спрятать не у жадных монахов, а на квартире у кого-нибудь из заводских рабочих, многосемейных. Эти сговорчивее!»

Гирейханов решил пойти к рабочему Дроздову: «Забастовщик, но у него, говорят, чухотка, а семья — сам-шест. Не может не нуждаться и, конечно, легко клюнет на выгодное предложение!»

Жена Дроздова стирала во дворе, забыв, должно быть, что сегодня праздник. Увидев дружка директора завода, приближающегося к ней развинченной походкой, она от удивления застыла,

склонившись к корыту и не отрывая сурового взора от «гадючьей глнсты».

— Христос воскрес! — сказал Гирейханов, приподнимая шляпу.

— Алеша! — крикнула женщина и снова принялась стирать.

Тотчас на крылечко вышел Дроздов, небольшого роста человек, в пиджачке и в черных брюках, заправленных в сапоги. Он еще улыбался веселым детским голосам, раздававшимся из комнаты.

Увидев гостя, Дроздов помрачнел.

— Вы ко мне? — спросил он.

— Да, к вам, — небрежно сказал Гирейханов, — шел, знаете ли, мимо и решил проведать. Все-таки что ни говори, а свои люди, вместе служим!

Дроздов удивленно переглянулся с женой.

— Что же, спасибо, — вежливо ответил он.

«И не пригласит в квартиру... хам!» — со злостью подумал консул.

— Может быть, пройдемтесь? — он дружески взял нелюбезного хозяина под руку и пошел с ним в глубь двора. — Это ваш сарай? — спросил он, ткнув пальцем в сторону деревянного сарая с дверью, подпертой снаружи железным ломом.

— Мой, — удивился Дроздов. — А вы что же, интересуетесь сараями?

— Отчасти. Дело, видите ли, в том, что... словом, вам повезло, Дроздов. Я хочу поддержать вас и вашу семью и...

Гирейханов почему-то потерял обычную самоуверенность и заторопился, хотя Дроздов слушал его не перебивая.

— ...поместить у вас на некоторое время партию подошвенной кожи. О, конечно же не бесплатно, я не жадный!

Гость подмигнул.

— Что вы скажете о десяти процентах той разницы в цене, которая...

— Что? — тихо переспросил Дроздов.

— Десять процентов.

— Вот это вы уж напрасно, господин Гирейханов, — слегка изменившимся голосом сказал Дроздов.

— Если вы считаете, что десять процентов это мало, то я...

Но Дроздов принял странную и неожиданную тактику. Очень вежливо, но настойчиво подталкивая Гирейханова к воротам, Дроздов спокойно говорил:

— Напрасно, господин Гирейханов, очень даже напрасно.

Гость упирался и раза два даже брыкнул ногой в лаковую туфле. Ему был обиден и неприятен такой необычный способ обращения.

И все же очень скоро он оказался на улице, и калитка захлопнулась за ним.

...Солнце стояло уже высоко, прохожих заметно прибавилось. Мадам Сифнео, важная барыня, шла в церковь святить куличи в сопровождении толстой, усатой кухарки, державшей в руках большую, тяжелую корзину, прикрытую белой салфеткой.

— Сто это? — испуганно вскрикнула мадам Сифнео, когда Гирейханов почти прыгнул на нее из калитки. — Сто это, мосье Гирейханов? Поцему вы бросаетесь на прохозих? Вас укусили?

— Миль пардон, — сказал с достоинством Гирейханов, — я выполняю свои консульские обязанности и не могу, к сожалению, объяснить, куда и откуда иду.

Он приподнял шляпу и, насвистывая, зашагал в сторону.

Настроение у него было прескверное.

Дворец Алфераки

Дворец, построенный купцом Алфераки, военным поставщиком русской армии в 1812 году, был и остается самым красивым зданием Таганрога. Зимний дворец в миниатюре: широкие монументальные двери, в которые можно въехать на тройке; стремящиеся ввысь окна, мраморные лестницы, двусветные залы, хоры; множество переходов и запасных комнат...

Спустя сто лет после постройки дом по-прежнему назывался в Таганроге «дворец Алфераки», хотя последний потомок поставщика камергер Михаил Николаевич Алфераки проживал в Петербурге, уже давно продав наследственный дом таганрогскому Коммерческому клубу.

Здесь, в нижнем зале с террасой, выходящей в большой сад, зимой устраивались танцевальные вечера, гремел на хорах оркестр, раздавалась команда распорядителей котильона. В соседних помещениях гостей привлекал буфет с горячительными напитками. А в задних комнатах шла азартная карточная игра в девятку. Местные греческие негоцианты, заезжие капитаны, офицеры таганрогской артиллерийской бригады из состоятельных и многие другие играли крупно.

В 1910 году за этим круглым столом красного дерева, сделанным еще руками крепостных столяров, местный молодой врач Д. И. Гордон проиграл в течение десяти минут санаторий с полным оборудованием и вполне на ходу. Дело было так: заезжий ремонтер ротмистр Буланов зашел вечером от нечего делать в клуб, сел за круглый «золотой» стол и заложил банк.

— В банке тысяча, — скучающим тоном провозгласил ротмистр и вынул из бумажника несколько крупных казначейских билетов. Толпившиеся за столом мазильщики почтительно переглянулись: в бумажнике было бумаг, по-видимому, на несколько десятков тысяч рублей. И в самом деле, ротмистру выдали для заготовки конского состава изрядный куш!

Победоносное движение по кругу рук банкомета, бьющего карту за картой, шло слева направо. Ротмистр обходил стол уже по второму разу. Подчиняясь закону геометрической прогрессии, ставка выросла гигантски.

— В банке восемьдесят тысяч! — стараясь оставаться равнодушным, провозгласил красный, как темляк на его палаше, ротмистр, обращаясь к очередному игроку — молодому врачу с черной бородкой. Это и был доктор Гордон, владелец и главный врач местного санатория для

нервнобольных. Санаторий помещался в соседнем с клубом здании — прекрасном двухэтажном доме. Гордон брал за полный пансион и лечение неслыханно дорого: по десять рублей в сутки с персоны. Злые языки утверждали, что приютом в санатории пользовались не столько нервнобольные, сколько вполне здоровые влюбленные парочки из состоятельных. Так или иначе санаторий был популярен и славился, как вполне преуспевающее заведение.

— Ва-банк! — сказал Гордон перехваченным от волнения голосом. Он уже проиграл в этот вечер тысяч десять и был, как говорили игроки, «в запарке».

Ротмистр поднял на Гордона красные от прилива крови глаза и хрипло сказал: «Эклере!» — что значит «предъявите ваши деньги». Это было правом каждого игрока — требовать обеспечения ставки. Все же среди партнеров произошло некоторое движение: Гордон считался человеком со средствами. Впервые здесь, в клубе, он услышал такое обидное требование! Но Гордону было не до обиды.

— Ставлю свой санаторий! — поспешно объявил Гордон. Он опасался, что заезжий офицер потребует наличные, а кто же носит в кармане, разве кроме ремонтеров, такие суммы?!

— Санаторий? — ошалело переспросил офицер. — Какой санаторий?

Все кругом услужливо стали пояснять, что санаторий — вот он, рядом, из окон видно, и что он стоит уж во всяком случае не меньше, чем восемьдесят тысяч. Дотошливый ремонтер не поленился встать и посмотреть в окно. Высокое белоснежное здание произвело на него, видимо, отличное впечатление. Ему вдруг показалось, что стать владельцем санатория — это значит сразу превратиться из забубённой головушки в солидного и обеспеченного до старости человека.

— Идет! — крикнул ротмистр и дал карты.

Все, затаив дыхание, глядели на его выхоленные руки с короткими толстыми пальцами. Раз-два, раз-два. Партнеру — себе, еще раз партнеру, опять себе. Гордон судорожно схватил свои две карты, но ротмистр уже успел бросить на стол восьмерку и туза.

— Девять! — торжествующе крикнул он. Гордон побледнел, заглянул в свои карты, уронил их, и они, медленно планируя в воздухе, упали на пол. Все молчали.

— Когда прикажете получить? — спросил офицер, с беспокойством глядя на обморочное лицо доктора.

Все вокруг загалдели:



— Вы имеете дело с порядочным человеком, что такое! Завтра поедете к нотариусу оформить дарственную, вот и все! А сейчас оставьте доктора в покое!

Гордон и в самом деле нуждался в покое. Он встал и молча пошел прочь. Ротмистр засунул в карманы выигрыш и поспешил следом.

«Надо было наперед потребовать хоть расписку, что ли! — горестно думал ремонтёр. — Что с него возьмешь, если окажется плутом!»

Офицер вышел на улицу. Он огляделся, доктора нигде не было. На пустынной в этот предутренний час Николаевской улице еще горели керосиновые фонари почти невидимыми огнями.

Летняя заря занималась. С моря дул прохладный ветерок и доносил соленый запах. Но ротмистру было не до поэтических наблюдений. Его грызло опасение упустить свой выигрыш. Он поплелся в гостиницу, в сотый раз упрекая себя за неосторожность.

А в восьмом часу в его номере сидел высокий и красивый старик с патриаршей бородой, отец доктора, известный в городе ростовщик и богач, и вел разговор с офицером, так и не ложившимся спать:

— Вы хотите получить выигрыш. Хорошо. Вы хотите, чтобы мой сын переделал санаторий на вас. Отлично! Но, может быть, вы не знаете, что санаторий юридически принадлежит мне? Нет, не надо падать в обморок, это жё факт. Словом, хотите пять тысяч наличными в обмен на вашу расписку о

получении восьмидесяти? Нет? Тогда до свиданья. Я с вами на санаторий не играл и отдавать его не собираюсь. В суд? Идите в суд, вас там засмеют. Ну хорошо, если вы такой жадный, хотите шесть тысяч? Последнее слово — шесть с половиной! Ну?

— Восемь, — блеющим голосом сказал ротмистр. У него впервые в жизни кружилась голова.

— Семь, и ни копейки больше. Имейте в виду, я могу раздумать. И что вы тогда, господин офицер, будете делать, а?

Кончили на семи с половиной. Старик полез в нагрудный карман длинного сюртука, вытащил толстенный бумажник, посплюнявив пальцы, отсчитал семь с половиной тысяч рублей и выждал, пока зеленый от злости ротмистр написал расписку о получении от доктора Гордона в полное покрытие выигрыша восьмидесяти тысяч рублей. Взяв расписку, аккуратно положив ее в бумажник и спрятав его, старик с явным презрением бросил на стол деньги и, не прощаясь, повернулся к двери.

Вернувшись домой, он сказал трепещущему сыну-доктору, что уплатил за расписку десять тысяч и взял у ротмистра вексель на одиннадцать тысяч сроком на год. Доктор был вполне платежеспособен в пределах такой суммы!

Много былей и небылиц, связанных с азартной карточной игрой, возникло в этих стенах. Среди местных легенд мне запомнилась история сгоревшей паровой мельницы — той самой паровой мельницы, стоявшей по дороге между Таганрогом и дачной местностью Карантин, которая упомянута в рассказе Чехова «Огни»:

«В версте от Карантина стоит заброшенное четырехэтажное здание с очень высокой трубой, в котором когда-то была паровая мукомольня. Оно стоит одиноко на берегу, и днем его бывает далеко видно с моря и с поля. Оттого, что оно заброшено и что в нем никто не живет, и оттого, что в нем сидит эхо и отчетливо повторяет шаги и голоса прохожих, оно кажется таинственным».

Это произошло еще до того, как мельница была заброшена. Ее владелец Александр Ильич Ревич — осанистый мужчина лет пятидесяти, коммерсант и картежник, больше картежник, чем коммерсант, — был поэтом картежной игры. Выигрыш прельщал его, но во вторую очередь. Прежде всего его привлекали самый процесс игры, ее азарт, ее треволнения, сказочные удачи и удивительные бедствия. Он мечтал о неслыханной талье, когда бы ему удалось бить партнеров по двадцатой и тридцатой карте. С отчетливостью миража в пустыне он видел себя за круглым столом.

Вот он бьет первую карту, ставка удвоилась... Он бьет третью, четвертую... В банке сто тысяч! Его партнер открывает восьмерку, он смотрит в свои карты... Девятка! Двести тысяч! Он зовет клубного лакея, тот дает ему салфетку. Александр Ильич уносит домой завернутые в салфетке смятые сотенные билеты, огромную кипу сотенных!

Что будет дальше, Ревича не интересовало. В последнем кадре он видел себя идущим по утренним улицам Таганрога с тугим узлом, в котором спрессованы деньги. Какое торжество, какая радость!

Мираж рассеивался. Ревич стогнял с лица улыбку радости и смотрел на часы, много ли осталось до того вечернего часа, когда уже можно будет пойти в клуб.

На свою мельницу он ездил далеко не каждый день, главным образом — после выигрыша, находясь в благодушном настроении. Заниматься делами он предоставил приказчику Ефиму Давидовичу, скромному почтенному человеку. Каждое первое число, подводя итог, приказчик преданно вздыхал и протягивал хозяину когда сто, когда сто двадцать рублей, не больше.

— Конкуренция! — говорил сокрушенно Ефим Давидович, вздымая глаза к небу.

Ревич запихивал деньги в карман. Что же, на две-три ставки хватит, а там что бог даст. Если повезет, и достаточно, а если не повезет, то ведь можно проиграть и тысячи! Пожалуй, даже лучше, что мельница не приносит тысячного дохода.

Однажды Александр Ильич играл всю ночь с переменным успехом, а под утро ему сказочно повезло. Он бил карту за картой! Сон становился явью, мечта — действительностью. Одно было плохо: настоящие, денежные игроки уже разошлись, оставалась мелкота и клубные арапы. Пора было кончать. Ревич выгреб из карманов на стол весь выигрыш и пересчитал. Партнеры с нескрываемой завистью смотрели на процедуру. Ревич насчитал пять тысяч рублей без трешки. Трех рублей не хватало до круглой цифры! Ревич спросил, улыбаясь:

— Ну, картежники, у вас, вместе взятых, есть три рубля? Покажите!

Арапы пошептались и выложили на стол три рубля мелочью.

— Даю карту на три рубля! — благодушно сказал Ревич. Он дал карту и проиграл.

— Даю на шесть рублей!

Он проиграл снова. Через полчаса, все пять тысяч перешли к компании арапов, и те, сев в углу, принялись делить деньги. Ревич молча встал,

одернул пиджак и нетвердыми шагами пошел к выходу.

Придя домой в пятом часу утра, он, как всегда, разбудил своих сыновей-гимназистов Адга и Даню: одному было пятнадцать лет, второму — тринадцать. С трудом продирая глаза, гимназисты натянули штаны и, зная, что перечить отцу, да еще когда он приходит проигравшимся (это они угадывали безошибочно), невозможно, сидели за стол. Отец, злой и побуревший от бессонной ночи, как всегда, задавал карточную задачу, на этот раз из игры в преферанс:

— У меня туз, король, дама, три мелкие карты одной масти и четыре ренонса в другой. Какую игру я должен назначать, если мой ход?

Когда сыновья отвечали неверно, он их сек. Если отвечали правильно, давал гривенник. Мальчики уже очень недурна разбирались в преферансе и в других карточных играх.

Потом вдовый Ревич ложился спать в гостиной: здесь он спал после проигрыша. В случае выигрыша он спал в кабинете или в спальне. Прислуга, заметив хозяина на диване в гостиной, ходила на цыпочках:

— Барин вернулись проигравшись!

С той ночи пошла полоса невезения. Ревич проигрывал. Он стал ездить на мельницу чаще,

сделался настойчивым. Приказчик оставался почтительным, но в деньгах отказывал:

— Нету, Александр Ильич! Крестьяне не везут-с!

Трудно сказать, когда именно в голову ошалевшего игрока пришла дикая мысль поджечь собственную мельницу, чтобы получить крупный куш — страховку, только однажды, после особенно крупного проигрыша, задолжав партнерам, Ревич вышел из клуба раньше обыкновенного и нанял извозчика:

— На мельницу!

Была глухая ноябрьская ночь. С моря дул холодный ветер. Ревич поднял бархатный воротник драпового пальто и, поставив палку между ног, оперся на нее. Ночной извозчик на плохонькой клячонке отлично знал седока и в душе изумлялся: «И чего Александру Ильичу делать ночью на мельнице? Отродясь этого не было!».

Темное здание мельницы возникло на пустыре сразу, точно выросло из-под земли. Ревич порылся в карманах, нашел двугривенный и дал извозчику. Тот хотел было попросить прибавки, но не решился и, чмокнув беззубым ртом, поехал обратно. Ревич, стараясь не шуметь, точно вор, прокрался к наружной шаткой лестничке и поднялся невысоко, к веранде на сваях, где хранился

вчерашний помол. С сильно бьющимся сердцем, чувствуя головокружение, Ревич чиркнул спичкой и поднес ее к сухой, как порох, муке, насыпанной навалом. Сначала ему показалось, что огонь потух, но прошла минута-другая, и горка муки осветилась. С каждым мгновением свет становился ярче. Ревич испугался, и ему захотелось задуть огонь, но он вспомнил свое унижение, когда не смог уплатить партнеру проигрыш, и, втянув голову в плечи, подался к выходу. Осторожно опустившись на землю, он пошел, почти побежал к городу. Дома он был через час и, не разбудив сыновей, лег в кабинете: теперь-то он будет в выигрыше!

Мельница сгорела дотла, но Ревич не получил ожидаемой выгоды, так как оказалось, что симпатичный приказчик вот уже два года прикарманивал страховые деньги и мельница была не застрахована.

Прокурор потом допрашивал и извозчика, и еще нескольких людей, видевших Ревича возле мельницы в ночь пожара, однако дело прекратил, так как какому же хозяину был профит сжигать собственное незастрахованное имущество?!

Ревич после этого случая прожил еще долго, но что то в нем угасло. Он поступил агентом по страхованию от огня и кое-как перебивался. Детей он карточной игре больше не учил, но, запершись в

тесной каморке (квартиру ему пришлось сменить), сам с собой играл в карты и, бывало, проигрывал и выигрывал крупные куши.

Все эти — и многие другие — истории связаны с дворцом Алфераки. Не думал не гадал камергер, да и не думали не гадали старшины Коммерческого клуба, что в залах и в кабинетах, среди стен, оклеенных штофными обоями, в январе — апреле 1918 года обоснуется Таганрогский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!

Букет

Немецкий ландштурм, последний резерв германского кайзера, нарушил условия Брестского договора. Таганрог давно уже перешел из Екатеринославской губернии (Украина) в состав Области войска Донского, то есть в состав РСФСР, и по точному смыслу договора не подлежал оккупации. И все же германское командование в апреле 1918 года двинуло войска к Азовскому морю.

Первого мая рано утром в Таганроге начался переполох...

В помещение городской управы еще с вечера явился осведомленный об отходе большевиков в Ейск бывший городской голова, меньшевик, прапорщик Михайлов и с ним еще двое местных деятелей. Они попытались соединиться по телефону с Марцево, ближней станцией, чтобы узнать о продвижении немецких войск, но безуспешно.

— Плохо, — сказал Михайлов, молодой человек с невыразительным лицом. Старые члены городской управы кооптировали его и сделали городским головой главным образом за молчаливость и вежливость в обращении («Смотрите: эсдек, а первым здоровается!»). Став мэром города, Михайлов обрел металл в голосе, дотоле тихом и почтительном.

Второй из компании — член управы Боровский, пожилой беспартийный инженер, с отвисшими щеками и бородкой клинышком, молча, с надеждой посмотрел на третьего из присутствующих, присяжного поверенного Аркадия Семеновича Бесчинского. Этот не был членом управы, но явился сюда как общепризнанный лидер местного комитета кадетской партии.

Аркадий Семенович обладал наружностью испанского гранда: он был высок, строен, с черной эспаньолкой и усами колечками. Темные с поволокой глаза его и мягкий вкрадчивый голос привлекали женские сердца.

— Наверно, станция оставлена большевиками, а немцы еще не заняли ее, — сказал Бесчинский. — Некому отвечать. Подождем!

Михайлов, которому в качестве эсдека надлежало бы критически относиться к высказываниям политического противника — кадета, смотрел в рот Бесчинскому. Он ужасно боялся, что Таганрог почему-либо не будет в ближайшие часы оккупирован немецкими войсками и возникнет опасность захвата власти «чернью». Бесчинский его успокоил:

— Раз уж немцы решили скушать и Таганрог, они это сделают!

Боровский предложил идти по домам, но Михайлов запротестовал: а вдруг ночью произойдут события? Например, от немцев поступит ультиматум?!

— Вы правы, останемся. Служение народу требует жертв, — не то насмешливо, не то всерьез сказал своим мягким красивым голосом Бесчинский.

Рано утром в кабинете требовательно зазвонил телефон. Первым проснулся Бесчинский. Он вскочил с дивана и схватил трубку:

— Городская управа слушает!

Он ожидал, что с ним заговорит по крайней мере германский полковник.

Но в трубке раздался знакомый голос Виктора Михайловича Буштаба, коммерческого директора металлургического завода Нев, Вильде и К°, молодого еще мужчины, с красивой ассирийской бородой жгуче-черного цвета, вечного и часто удачливого конкурента Бесчинского и на политическом поприще и на женском фронте.

— Аркадий Семенович? Получен из Марцево ультиматум от германского командования, едем сейчас сдавать город. Едут члены управы — эсеры, эдеки и я — от партии конституционно-демократической (деятели этой партии не любили, когда их называли попросту кадетами). Надеюсь, вы не возражаете?

Бесчинский мысленно заскрежетал зубами («И здесь обскакал! Перехватил ультиматум, сукин сын!»), но в трубку сказал вежливо:

— Может, и мне бы следовало поехать с вами?

— Нет места! — заявил Буштаб. — Да и некогда: истекает срок ультиматума! Значит, договорились?

И добавил:

— Или вы против сдачи города и желаете дать сражение немецким войскам?

Так как Бесчинский от злости молчал, то его собеседник насмешливо сказал:

— Ну, пожелайте нам успеха!

И положил трубку. Нахал, пахал!

Бесчинский все же решил опередить Буштаба, не открывая, однако, карт Боровскому, а в особенности Михайлову («Как-никак городской голова. Этот козырнее членов управы!»). Он им сказал, что звонили немцы со станции Марцево, требуют сдачи города. Надо ехать.

— Нужен автомобиль! Автомобиль, понятно?

— Большевики угнали все машины! — испуганно сообщил Михайлов. — Поедем в кабриолете!

— А лошадь? — спросил Боровский, оживая. До этой минуты он молчал. Руки у него тряслись, он ежеминутно смотрел на часы.

— По-моему, лошадь они с собой на пароход в Ейск не взяли, — заметил Бесчинский. — Велите запрягать!

Михайлов потоптался с минуту, потом сказал: — Я видел, кучер управы Дмитрий ушел с большевиками...

— Идем! — крикнул Боровский, и все трое бросились в дверь.

Во дворе управы было пустынно. Дощатая дверь конюшни, раскрытая настежь, скрипела на ветру ржавыми петлями.

В конюшне царил полумрак: маленькое окошко у самого потолка еле пропускало свет. За решетчатой дверью в глубине конюшни тыкалась мордой в прутья решетки небольшая караковая кобылка. Увидев Михайлова, она приветственно заржала.

— Вы умеете запрягать? — спросил Бесчинский. — Имейте в виду, осталось двадцать минут!

— Сейчас увидите, что вы тоже умеете! — огрызнулся Михайлов, и все трое принялись за дело: выкатили во двор из сарая щегольской кабриолет, вывели из денника лошадь и затолкнули в оглобли.

— Кто будет править? — отрывисто спросил Боровский.

— Я! — сказал Михайлов и влез на козлы. Кобылка заплясала на месте.

— Откройте ворота! — крикнул Бесчинскому Михайлов, с трудом сдерживая лошадь. Боровский молодецки вскочил в экипаж. Бесчинский рысцой побежал к воротам...

Через минуту кабриолет помчался по Петровской улице за город. Немногочисленные в этот ранний час прохожие с величайшим интересом глядели вслед необычному выезду с важными седоками и еще более важным кучером. Уже за городом, у здания больницы, Михайлов натянул вожжи, откинувшись назад, почти на головы седоков.

— Белый флаг! — взволнованно воскликнул он. — Пойдите, Аркадий Семенович, в больницу и попросите простыню!

Бесчинский послушно соскочил с подножки экипажа и ринулся в двери обветшавшего двухэтажного здания.

— Иван Иванович, скорее белую простыню! — крикнул он, вбежав в фельдшерскую. — Едем сдаваться!

Фельдшер, известный всему городу Иван Иванович Иванов, пошевелил рыжими усами и

спросил себя, не с пьяных ли глаз померещилось такое. Он стоял в нерешительности, когда Бесчинский, вздымая к небу запачканные дегтем руки, сказал с одышкой:

— Немцы! Понимаете? Еще десять минут, и начнется обстрел. Скорее простыню!

Фельдшер исчез и мгновенно появился в дверях с простыней. Схватив ее, как эстафету, адвокат ринулся назад.

Экипаж помчался дальше за город, к станции Марцево, по пыльной дороге меж зеленевших юной зеленью Полей, вдоль берега Азовского моря, такого узкого в этом месте, что ясно был виден противоположный берег.

— Скорее! — повелительно крикнул Боровский городскому голове — совершенно так же, как если бы на козлах сидел управский кучер Дмитрий. Михайлов послушно хлестнул по крупу лошади вожжами, кобылка, обидевшись, засбоила.

Подъезжая к станции Марцево, Бесчинский размахивал простыней; она развевалась от быстрой езды, как флаг. Но вот и станционное здание. С трудом остановив разбежавшуюся лошадь, Михайлов молодецки прыгнул с козел. Боровский слез боком. Бесчинский, по-прежнему держа «флаг», поникший в его высоко поднятой руке, соскочил с подножки и вышел вперед. В конце

концов, он один здесь говорил по-немецки. Но где германское командование? Где солдаты?! Ага, вот! Их что-то немного...

Из двери станционного помещения вышел пожилой немецкий обер-лейтенант-ландштурмист с двумя фельдфебелями-артиллеристами и остановился у двери, поджидая приехавших. У него был одновременно и усталый и нахальный вид; трудно сказать, как ему удавалось совместить эти два свойства.

— Мы — делегация от таганрогской городской управы, — сказал по-немецки Бесчинский, когда все трое подошли поближе. — Мы сдаемся!

— Кто вы? — спросил по-русски офицер, небрежно ковыряя носком сапога щебень у двери.

— Я — городской голова, — с важностью ответил Михайлов, — а это (он указал на Боровского) — мой заместитель.

— Кто он? — спросил немец, кивнув на Бесчинского.

— Я — лидер местного комитета партии конституционно-демократической, — сказал Бесчинский, чувствуя, что все идет как-то не совсем правильно.

- Демократише? — переспросил, картавя, немец. — А вы знаете, что наш кайзер повелель вздергивать всех демократише на фонарь?

Он огляделся, точно высматривая подходящий фонарный столб. Но фонарь здесь был только один, да и тот сам висел на крюке у входа.

Бесчинский побледнел, но нашелся:



— Вот этот, — он показал на Михайлова, — хоть и городской голова, но социал-демократ, гораздо левее меня. Наша партия — за монархию.

— А! — сказал офицер. — Социалист — повесить, да. Но он бургомистр, так? Бургомистр нельзя повесить. Лядно! — оборвал он сам себя и рассмеялся громким глупым смехом. Сразу стало ясным, что раньше, чем надеть мундир ландштурмиста, он был на родине трактирщиком или лавочником. — Лядно! Мы сегодня не будем вешать. Идите домой! Наш командований уже подписался. Ферштеен зи?

Он показал правой рукой в воздухе, как расписалось командование, и похлопал Бесчинского по плечу. Тот тяжело вздохнул, сообразив, что Буштаб и в самом деле обскакал его, подписав где-то («Но где?!») акт капитуляции.

Обманул, чертов ассириец!

Лошадь с кабриолетом офицер отобрал «для нужд кайзер-кенигсарме», и делегация ушла восвояси пешком.

— Непонятно, почему так мало немецких войск? — сказал Бесчинский. — Куда они подевались?

Боровский поглядел в сторону заводов и увидел вдаль серую колонну,двигающуюся в Таганрог по другой, параллельной дороге.

— Вот, извольте видеть, — сказал он с таким торжествующим видом, точно это он ведет колонну занимать родной город.

— Так или иначе, мы, управцы, вступаем в свои должности, — заключил Боровский. — Кстати, Алексей Дмитриевич, — обратился он к городскому голове, шагавшему по пыльной улице предместья, — как вы полагаете поступить с выплатой нам жалованья за время вынужденного отстранения?

— А вы что полагаете? — спросил Михайлов признанного авторитета — Бесчинского.

— А как же иначе? — удивился Бесчинский. — Никто из служащих управы не должен материально пострадать из-за захватчиков власти!

— Никто из старших служащих, — внес поправку Михайлов.

Встретилась извозчичья пролетка. После краткого спора решено было ехать втроем, с тем чтобы Боровского и Михайлова извозчик доставил в управу, а Бесчинского отвез затем домой. Спор, собственно, касался частного вопроса о том, кому именно из трех сидеть на скамеечке, приделанной к козлам. В конце концов спиной к движению согласился поехать Боровский, потому что Бесчинский сослался на свое лидерство в партии

кадетов, а Михайлов напомнил о своем лорд-мэрстве.

— Первому лицу в городе неудобно въезжать в город спиной к встречающей публике, — сказал Михайлов.

Однако встречающей публики на этот раз не было. Город будто вымер. По улице с музыкой «Вахт ам Райн» и с барабанами уже шли немецкие войска. Упитанные лошади везли солидные пушки. Вступившая в Таганрог воинская часть, видимо, располагала точнейшими картами города, потому что, ни у кого не спрашивая дорогу, колонна безошибочно направилась к казармам, а господа офицеры — по квартирам, где их ласково и с искренней радостью встретили местные крупные купцы.

— Вот народ, у которого царит порядок, — с восхищением сказал Боровский. Михайлов и Бесчинский только вздохнули.

Назавтра жизнь города, как казалось эдеку Михайлову и кадету Бесчинскому, вошла в свою колею. Заводы работали, лавки торговали, в управе стучали машинки. Вступил в свои права начальник милиции — местный адвокат, назначенный на эту должность еще при Керенском. Усатые городовые, переименованные тогда в милиционеров, снова

стояли на постах и снова кричали плохо одетому человеку: «Куда прешь?!»

Немецких солдат и офицеров почти не было видно. Надо думать, они получили приказ «не раздражать население». Время от времени производились аресты среди рабочих и облавы по ночам в пригородах, но это совсем уж мало интересовало зажиточную часть города.

Вскоре таганрожцы узнали, что немецкие войска заняли и Ростов. Видимо, взятие Ростова давалось не легко, и, между прочим, им пришлось оттянуть из Таганрога войска. Именно к этому времени относится неожиданный обстрел Таганрога с моря...

...С приходом немцев снова в залах Коммерческого клуба были натерты желтым воском паркетные полы. Молчаливый столяр починил и подкрасил мебель. Старшина клуба богач Негропonte купил за собственный счет шелк на новые оконные драпри. Он же справил швейцару мундир с позументами. Клуб открылся для игры в карты и для увеселений.

Среди завсегдатаев клуба в часы игры появилась новая фигура: немецкий комендант, худой и высокий майор, — барон фон Гюльтлинген. По его словам, он оставил в Германии огромные поместья. Однако играл он по маленькой.

Сначала игроки стеснялись серого немецкого мундира, потом привыкли и весело приветствовали барона, который говорил по-русски и любил веселую шутку на немецкий манер. Например, когда кто-либо с грустью во взоре бродил по залам клуба, явно проигравшись вдрызг, комендант с невинным видом поздравлял его с выигрышем и первый хохотал над кислой улыбкой неудачника.

Однажды днем толстяк Негропonte, ведавший в клубе хозяйственной частью, осматривал с печником чердачное помещение. Пока печник проверял исправность дымоходов, Негропonte от нечего делать взглянул в слуховое окошко и обмер.

В те времена клубное здание было одним из самых высоких в городе. Из слухового окна просматривался весь город и Азовское море, с трех сторон осаждавшее Таганрог.

Негропonte, в прошлом капитан греческого торгового судна, сохранил еще былую зоркость. Он лениво оглядел морской горизонт и вдруг увидел в дальней дымке вспышку пламени, как будто кто-то зажег в двадцати верстах отсюда свечку и тотчас ее задул.

Потом Негропonte услышал какой-то негромкий удар, точно в дальней комнате хлопнули дверью.

— Кирие елейсон!
Господи помилуй! — испуганно
воскликнул Негропонте. —
Пушечный выстрел с зюйд-
веста!

Не слушая печника,
сообщавшего ему тем временем
результаты осмотра дымовых
ходов, Негропонте ринулся
вниз, в первый этаж, в
игральную комнату. Вбежав в
угловую, Негропонте быстро
оглядел игроков и, сразу
заметив фон Гюльтлингена,
метавшего банк, подбежал к
нему и, чуть задыхаясь от
быстрого бега, сообщил:

— Эмаста, кто-то из
орудий стреляет по городу! Как
бы в подтверждение раздался
хотя и глухой, но все же более
ощутимый выстрел и
металлический звук разрыва.

Игроки побледнели.
Негропонте объяснил, что с
чердака видно, откуда идет
обстрел. Майор отрывисто скомандовал:



— На чердак! Шнеллер!

И, надев зачем-то каску, которую он во время игры клал на маленький столик для кофе, комендант зашагал за побежавшим рысцей Негропонте.

С чердака теперь отчетливо было видно, что стрельба идет с какого-то судна, видневшегося на горизонте. Разрывы приближались к тем пригородным кварталам, где находились казармы, занятые ныне немецкими солдатами.

— Шестидюймовка! — сказал Негропонте. — Но кто стреляет?!

— Большевики! — сквозь зубы произнес барон.

Он сбежал с лестницы на улицу и куда-то помчался в своей чистенькой немецкой коляске, запряженной парой сытых немецких лошадок.

Немецкая комендатура помещалась в особняке, ранее принадлежавшем умершему немцу, владельцу шорной мастерской. Дежурный фельдфебель Кнох, в прошлом преподаватель пения в немецкой средней школе, тощий немец, страдавший выпадением прямой кишки, доньше не мог примириться с тем, что, предъявив приемной комиссии такой веский довод, как выпадающая кишка, он все же был забрит в армию. Уныло отвисшие седеющие усы, бледные, плохо выбритые щеки и кислый взгляд из-под очков не создавали в

общем идеального типа воина. Барон и без того недолюбливал этого кисля, а тут еще выяснилось, что дежурный по части совершенно не в курсе событий. Он даже, оказывается, не слышал выстрелов!

— Очевидно, герр барон, у меня и слух задет тоже, — с беспокойством пояснил дежурный, вытянувшись по уставу, но не являя от этого более воинского вида. — Я прошу вас направить меня на комиссию с участием врача-ушника!

— Молчать! — рявкнул фон Гюльтлинген, багровея. — Вызвать часть по тревоге!

Фельдфебель ударил в колокол, и в уставные минуты во дворе выстроилась воинская часть — все, что оскудевший фатерлянд мог выделить для несения гарнизонной службы в Таганроге. Остальные подразделения были отправлены командованием в Ростов, на Батайский фронт, и в Екатеринослав, в окрестностях которого было «неспокойно».

— Соединить меня со штабом корпуса! — скомандовал майор. Кнох с редкой для него быстротой стал крутить ручку телефонного аппарата, видно сообразив, что дело принимает плохой оборот.

— Обстрел города с моря! — крикнул через пять минут майор в телефонную трубку. — Возможен десант! Необходимо подкрепление!

Видно, командир корпуса не сообщил ему в ответ ничего утешительного, потому что комендант положил трубку, явно нервничая, и вышел к выстроившимся солдатам.

— Рут! Смирно! — покатило по двору. Сделав три шага навстречу, младший офицер, толстый с обвисшими щеками ландштурмист, отдал рапорт, после чего майор, не командуя «вольно», обратился к солдатам с короткой речью:

— Солдаты! Нам приказано сражаться за наш дорогой фатерлянд и, если понадобится, умереть!

По вытянувшимся лицам пожилых солдат было ясно видно, что им неохота ни сражаться, ни тем более умирать. Майор сердито приказал им принять походный строй и выступить. Он повел серую колонну по направлению к Петрушиной Косе, туда, куда, по-видимому, был нацелен удар большевиков и где предстояла высадка их десанта. Вся надежда была на быструю подмогу артиллерией и солдатами хотя бы из Екатеринослава; но большевики едва ли станут дожидаться прибытия вражеского подкрепления. Задача майора заключалась в том, чтобы, по возможности,

задержать продвижение десанта. Едва ли возможность была велика!

Фон Гюльтинген, конечно, не знал, что именно произошло в Ейске, куда отступили таганрогские революционные рабочие и красногвардейцы. Кто-то здесь пустил провокационный слух, будто Таганрог вовсе и не занят немцами и что ничего не стоит захватить его с моря. Предложение снарядить десант было на заседании городского комитета большевистской партии отвергнуто как явно авантюристическое.

Однако не все подчинились решению. В конечном счете из Ейска флотилия, обладающая крупнокалиберными орудиями, двинулась к таганрогским берегам для захвата города с моря.

На судах находилось до десяти тысяч человек. Люди были охвачены благородным стремлением выбить немцев из Таганрога, тем самым облегчив положение советских войск на Батайском фронте. Но не было ни четкого военного плана, ни четкого командования. К тому же суда десантной флотилии оказались совсем не приспособленными для десантных операций. Часть флотилии — в основном Мелкосидящие суда — приблизилась к берегам и высадила — с опозданием! — людей, а часть — и как раз наиболее мощные, но именно поэтому глубоко сидящие

корабли — отстала. Флотилию разбросало; некоторые суда дрейфовали в районе Платово, другие приблизились к Золотой Косе; частично флот оказался у Петрушиной Косы.

Среди таганрогской буржуазии началась паника. Однако деваться было некуда. Обстановка исключала попытку бежать, да и куда? Это было время, когда один из поэтов-сатириков, сам неоднократно бежавший от власти рабочих и крестьян, сочинил парафраз лермонтовских строк:

Бежать? Но куда?

На время не стоит труда,

А вечно бежать невозможно.

Хуже всего была неизвестность. Обратиться к городскому голове Михайлову за информацией? Но он сам до такой степени испугался глухих раскатов орудийных выстрелов, отдававшихся в его ушах отзвуком тяжкой поступи красноармейцев, что почти весь день пребывал в большом, глубоком и комфортабельно обставленном погребе здания городской управы. По крайней мере, снаряд не достанет!

И вдруг через три дня, на радость Бесчинского, Михайлова и клубменов, в городе снова появились немецкие военные! Из-за медлительности командования десанта немцы успели получить подкрепление...

На этот раз шли отборные части немецкой оккупационной армии. Бросалось в глаза обилие артиллерии и ее крупный калибр. Несколько штабных машин везли генерала с моноклем в глазу и двух-трех полковников. Колонна проследовала с музыкой через город, частично осела в прежней комендатуре и прежних казармах, а большая часть пехоты направилась на марш по двум параллельным улицам, Петровской и Николаевской, к выходу из города, мимо шлагбаума и больницы. Когда пропылил последний ряд колонны, фельдшер Иван Иванович отвернулся и со злостью сплюнул.

А вечером фон Гюльтлинген вновь появился в клубе, встреченный на этот раз особо почтительными поклонами. К удивлению клубменов, он не сел за стол, а, строго оглядев в монокль бородатых и толстых партнеров, сказал:

— Господа, германский армий еще раз спасаль вас, вы понимает?

Все дружно подтвердили, что дело обстоит именно так.

— Альзо, — продолжал барон, — как вы думает поступать?

Все испуганно переглянулись, первым нашелся Негропонтэ:

— Германскому командованию хох! — закричал он тонким голосом.

Все нестройно в свою очередь крикнули «хох!».

— Благодарю, господа, — отрывисто сказал барон, — но вы должны благодарить кайзера официально. Это есть ваш долг, и германский командований ждет.

Все переглянулись, не понимая, чего домогается комендант. Судя по его надменному виду и строго поджатому рту, это не была шутка.

Первым догадался гласный городской думы помещик Платонов.

— Благодарность германскому командованию вынесет дума! — взволнованно воскликнул он. — Кто здесь гласные?

Он оглядел комнату.

— Да почти все!

— А как городской голова? — с сомнением спросил Негропonte. — Он ведь социалист?

— Чепуха! — раздалось со всех сторон. — Да он рад до смерти! На этот раз ему был бы от большевиков капут!

— Очень хорошо, — более милостиво отозвался комендант и первым сел за карточный стол.

Назавтра в три часа дня должно было открыться заседание думы. В два часа в кабинете головы сидело несколько деятелей эсеровской,

эсдекской и кадетской партий. Это были местные старейшины и шейхи. Они обменивались мнениями о предстоящем в отуме благодарности германскому командованию. Видно было, что некоторые из собравшихся испытывают чувство неловкости. Но успокоение внес Бесчинский. Он сказал:

— Господа, мы всегда будем иметь то моральное оправдание, что действовали под принуждением. Нас заставили вотировать ману милитари, вооруженной рукой!

Такая формула обрадовала и облегчила совесть тех, кто чувствовал себя не очень ловко. Но таких, видимо, было меньшинство. Остальные испытывали искреннюю благодарность к немецкому генералу, который отвел опасность от города...

...Вся местность у Петрушиной Косы, где с таким роковым опозданием высадился наконец десант, была поделена подоспевшей германской артиллерией на квадраты и закидана снарядами дальнобойной артиллерии. В десанте были большие потери, а у немцев незначительные. Как же тут не благодарить?!

Михайлов, слегка волнуясь, объявил заседание думы открытым. Тотчас поступило предложение объявить германскому командованию благодарность от имени населения Таганрога за

«спасение города». Вскочил Платонов и дополнил предложение:

— Возложим цветы на могилу убитого за спасение города обер-лейтенанта фон Бека!

— Возражений нет? — спросил Михайлов, торопившийся покончить с этим делом.

Неожиданно из задних рядов поднялся небольшого роста пожилой человек, с рыжеватой бородкой, крепко тронутой сединой, и с каштановыми кудрями. Это был местный старый и популярный беспартийный врач, доизбранный в думу после Февральской революции «от трудового населения».

— Это неслыханно! — начал он превосходно поставленным баритоном. — Немцы убили тысячи русских, а мы, вместо того чтобы служить панихиду, хотим отслужить молебен в честь тех, кто, ничем не рискуя, произвел расстрел! Опомнитесь, господа!

Все сидели затаив дыхание. Авторитет старого врача был в городе велик, многих из здесь присутствующих он лечил еще детьми. Однако можно ли так оконфузить людей? Ну, пусть бы совсем не голосовал или даже проголосовал против, зачем же публично говорить то, что обязательно дойдет до немцев и может вызвать нежелательные последствия?!

Первым нашелся Михайлов. Он был человек пришлый, у этого врача не лечился и знал о нем лишь то, что старик невыносимо «бестактен».

— Больше желающих говорить нет? — быстро и несколько нервно крикнул Михайлов. — В таком случае ставлю на голосование. Кто за предложение?

— С цветами? — задумчиво спросил кто-то.

— Да! За предложение выразить благодарность и возложить венок на могилу германского офицера, сложившего жизнь за дружи своя!

В упоении Михайлов заехал в евангельский текст. С какой, собственно, стороны таганрожцы — члены Коммерческого клуба — были «друзи» уроженца Вестфалии Августа Бека?! Впрочем, разбираться в мелочах было некогда. При голосовании нашлось несколько человек, не поднявших рук, но в сумятице это осталось почти незамеченным.

— Принято! — сказал Михайлов.

В лютеранскую кирху, где лежал на постаменте труп обер-лейтенанта Бека, непосредственного помощника барона, вошли старшины Коммерческого клуба Негропonte и Платонов. Впереди шагал городской глава Михайлов в парадном кителе.

Он торжественно нес букет чудесных белых и желтых роз.

— Колоссаль! — негромко произнес барон фон Гюльтлинген с явным удовлетворением.

Конец генерала Ренненкампфа

Луиза Ивановна Вейдель, по прозвищу «генеральша», содержала в Таганроге на пристани трактир с номерами и с женской прислугой, приносившей ей верный и постоянный доход. Дело свое она знала, немало потрудившись в молодости на более низких ступенях этой лестницы, вершины которой теперь достигла. Полицейский пристав уважал ее за тонкость обращения и чисто немецкую аккуратность в приношении ежемесячной mzды. Кроме того, он не мог не ценить в Луизе Ивановне ее какого-то родства или свойства с знаменитым генералом Ренненкампфом, происходившим, как и она, из прибалтийских немцев. Правда, здесь была неясность: Луиза Ивановна забывала, что в прошлый раз она именовала «экселенц» двоюродным братом и уже говорила о нем как о дяде. Что же! Пусть даже он приходился толстой, заплывшей жиром даме просто земляком, и то для пристава первой части города Таганрога этого было немало. Генерал Ренпенкампф — шутка ли сказать! Тот самый, кто подавил восстание ихэтуаней (боксеров) в 1901 году. Тот самый, кто расстрелял вместе с другим остзейским уроженцем генералом Мином революцию 1905 года.

Может быть, тут некоторое преувеличение: помимо Ренненкампа и Мина, в оружейных и ружейных расстрелах революционных рабочих отличились в те поры и многие другие верные царские слуги, но факт остается фактом: и Ренненкампф и Мин выглядели обер-палачами даже на фоне многих других царских палачей, а Ренненкампф, расправившийся с рабочими на Китайско-Восточной, Забайкальской и Сибирской железных дорогах, занял особо почетное место даже и среди обер-палачей. Как же было полицейскому приставу не испытывать уважения к родственнице сановника?! А что касается приносимой мзды, то в этом вопросе в царской России существовал незыблемый порядок. Известно, что даже министр юстиции граф Панин вынужден был дать взятку маленькому чиновнику министерства земледелия за ускорение продажи поместья. Перед взятками и взяточниками все были равны!

Что касается самого генерала Ренненкампа, то, по правде говоря, двукратные попытки мадам Вейдель завязать переписку не увенчались успехом. На первое письмо с жаркой просьбой припомнить общую родственницу «тетю Эммхен», проживавшую когда-то в Риге, генерал, видимо по чрезмерной занятости, вообще не ответил, а на второе, в котором речь шла уже не о родстве, а

просто об общем фатерлянде — любимой Курляндии, ответ все же пришел, но какой-то странный: адъютант генерала поручик Ковалев-второй просил больше не беспокоить его высокопревосходительство. Впрочем, письмо было подписано «готовый к услугам», и Луиза Ивановна еще долго думала, какие именно услуги может ей предоставить неведомый поручик Ковалев, почему-то подписывающийся, как и царь Николай, с приставкой «второй». Но так и не придумала.

Конечно, в те дни она нуждалась в помощи влиятельного генерала, а не одного из тех бедолаг поручиков, многие из которых задолжали ей немало денег в связи с высокой таксой в ее заведении. Да, ей требовалась помощь: случилась беда. В ее трактире отравили купца. Отравили и ограбили. Тут некстати вспомнили, что уже не в первый раз в порту в номерах Луизы Ивановны совершались уголовные дела и делишки: то кража бумажника у пьяного купца, то попытки напоить до бесчувствия богатого «гостя», тоже явно с целью ближе познакомиться с содержимым его карманов. Пристав разводил руками и приятным басом объяснял рыдающей даме, что это дело не его, а «подлежащих властей», и хотя не отказывался от сверхсметных приношений, но адресовал приносительницу к адвокатам.

Но что адвокат, если он даже не мог защитить даму от оскорбительных вопросов на суде об источниках ее доходов! И — что показалось фрау Вейдель особенно неприличным — давнишний ее клиент, толстый старый прокурор окружного суда Кутейников, попросил Луизу Ивановну в судебном заседании подробно описать расположение всех комнат ее заведения. К чему лишние вопросы, затягивающие и без того неприятнейшие минуты пребывания почтенной дамы перед судом?!

— Да разве вы позабыли, Корнелий Яковлевич? — робко спросила в ответ свидетельница, чем неожиданно для себя вызвала в переполненном зале громкий хохот. Она вовсе не собиралась шутить. До шуток ли было, если готовился запрет заниматься ей избранным промыслом?

Когда смех затих, ничуть не смутившийся прокурор заметил с весьма пристойным видом:

— Я-то не забыл, но, может быть, кто-нибудь из господ судей или господ присяжных заседателей запамятовал. Так не угодно ли свидетельнице все же ответить?

По каким-то формальным причинам дело было судом отложено, и вот тогда-то Луиза Ивановна и решилась обратиться к своему родственнику. Но люди злы. Как мы уже знаем,

вместо родственной помощи она получила холодное письмо поручика Ковалева-второго с неясной припиской: «Готовый к услугам...» Думала ли в тот день мадам Вейдель, что примерно через десять лет даже не за услугами, а за помощью обратится к ней сам Павел Карлович Ренненкампф?

С тех пор как неприятное судебное дело окончилось для нее самым благополучным образом и за отравление купца, совсем как Катюша Маслова в «Воскресении» Толстого, пошла на каторгу молодая женщина, а она, хозяйка, вышла из зала суда с ничем не омраченной репутацией, Луиза Ивановна и не вспоминала своего знатного родственника. Между тем в августе 1914 года его имя снова всплыло. Люди шепотом рассказывали друг другу, что знаменитое наступление на Восточную Пруссию армии генерала Самсонова сорвалось именно из-за генерала Ренненкампфа, командующего первой армией Северо-Западного фронта. Противостоявшей германской армией командовал его родной брат. И когда по диспозиции вслед за армией Самсонова должно было немедленно начаться наступление его правого соседа — армии Ренненкампфа, каратель даже и не пытался двинуться с места. Он предоставил генерала Самсонова и его солдат своей судьбе,

охраняя судьбу своего родного брата. Все же он в конечном счете оказался хорошим родственником!

Измена генерала Ренненкампа повлекла разгром в лесах восточной Пруссии армии Самсонова. Что же касается изменника, то какие-то его оправдания были благосклонно приняты немецкой царствовавшей в России четой, и на его груди засияла новая звезда, пожалованная «за геройство и храбрость».

Ранней осенью 1914 года об этом в России говорили многие, но, разумеется, Луиза Ивановна не интересовалась и не занималась «политикой». Ее интересы и занятия были неизменны и не выходили за пределы особняка в порту, освещавшегося по вечерам фонарем у входа.

Менялись официантки, менялись клиенты, менялись и тарифы: деньги падали. Луиза Ивановна с увлечением повышала цены, далеко обгоняя инфляцию. Ветер дул в ее паруса. И вдруг Романовы лишились престола, а она — мягкого кресла у окна в зальце своего заведения, да и заведения в целом: «номера» этого рода, просуществовав столько же, сколько существовала империя, повсеместно подверглись закрытию. По привычке видеть в приставе высокое начальство, Луиза Ивановна пошла было к нему поплакать на свою судьбу: «Тридцать лет я трудилась, и вот теперь меня

выгоняют, как драную кошку!» Да, такую тираду она приготовила для разговора с приставом, но оказалось, что пристав не то сбежал, не то сидит под арестом. Только тогда она поняла глубину катастрофы и удалилась на покой. Но разве можно быть спокойной в этой стране, не признающей ни царя, ни пристава, ни бога?!

С полгода фрау Вейдель пожила без особых огорчений в небольшом одноэтажном домике, купленном ею после ликвидации «дела». При домике был отличный фруктовый сад. Луиза Ивановна уже подумывала сдавать сад в аренду, как вдруг там, в Петербурге, который был уже не Петербург, а Петроград, что-то случилось осенью такое, перед чем бледнели ее прежние неприятности. Весьма ощутимые отзвуки Октябрьской революции она увидела и в Таганроге. «Рабочие поднимают голову», — с правильным классовым чутьем определила для себя суть событий старая содержательница трактира. И вывод она для себя сделала правильный: надо продавать и этот одноэтажный домишко на Митрофаньевской улице и уезжать в Курляндию. Там «приличное» правительство, там порядок, там, может быть, ей удастся открыть фешенебельный дом свиданий, о чем она мечтает вот уже тридцать лет. Но надвинулись события, которые сделали ее планы

маловероятными: в снежный январь 1918 года рабочие «захватили власть» в Таганроге...

А уже в феврале Луизу Ивановну ожидало новое неприятное событие. Из Ростова, в котором также установилась революционная власть рабочих и крестьян, к старой немке приехал ее родственник, свойственник или просто земляк генерал Ренненкампф.

Вот когда он мог пожалеть, что в свое время не был «готов к услугам», предоставив это своему адъютанту! Теперь-то услуги Луизы Ивановны ему особенно понадобились. В штатском потертом пальто, с небольшим чемоданом, постучался в дверь высокий и еще сейчас не согнутый летами старик, с начисто сбритыми усами, с нависшим носом. Он вошел в горенку и только здесь снял перед ахнувшей старухой потертую меховую шапку.

— Узнаешь, дорогая Луиза? — с генеральской хрипотцой негромко спросил Ренненкампф, сразу признав свое родство с хозяйкой дома.

— О, экселенц... — забормотала Луиза Ивановна, приседая в старинном книксене, — я так счастлива!

— Ну, уж счастливым нам с тобой не от чего быть, — отрезал генерал, бесцеремонно усаживаясь в широкое и низкое кресло, обитое красным

бархатом: мебель из своего заведения Луиза Ивановна, в общем, спасла и перевезла домой. —
Стаканчик мадеры мне не помешал бы, сестрица.

Беспрестанно приседая и ахая, мадам Вейдель поставила на круглый столик, крытый красной бархатной скатертью со старыми следами пролитого бенедиктина, графинчик водки, две бутылки отличного лафита и таганрогскую закуску: икру и балык. Генерал просветлел лицом, встал, скинул пальто и, снова усевшись, налил себе чарку водки.

— За гибель большевиков! — произнес он шепотом и опрокинул чарку себе в рот, показав при этом множество золотых коронок. — Я бежал из Ростова, — нашел он нужным пояснить. — Из Чека ломались в парадную дверь, а я удрал с черного хода. Понятно?

Не дожидаясь ответа, он внушительно сказал:

— Теперь ты должна меня спрятать. Большевикам каюк, скоро город займут немцы.

— Немцы?! — с восторгом переспросила Луиза Ивановна.

— Вот именно, — подтвердил генерал, опрокидывая вторую чарку.

Он поглядел на монументальную кровать и, не стесняясь престарелой родственницы, стал

раздеваться. Луиза Ивановна скромно потупила глаза.

— В конце концов, мы родственники... и мне уже шестьдесят лет, — сказал генерал, с усилием стаскивая солдатские сапоги. — Кстати, ты помнишь наше родство?

— О да, онкель Пауль! — пылко воскликнула Луиза Ивановна. — Вы — мой дядя!

— Ну, положим, не дядя, а только двоюродный... нет, троюродный брат, — возразил Ренненкамф. — В последний раз мы видались с тобой в Риге, у тети Эммхен. Помнишь тетю Эммхен?

Луизе Ивановне очень хотелось напомнить этому надменному старику, что было время — она сама ссылалась на тетю Эммхен в надежде разбудить в душе генерала родственные чувства. Но увы: ей достался лишь поручик Ковалев-второй с его бесплодной готовностью к услугам.

— Приятного отдыха! — жеманно пропела старуха и выскользнула из комнаты, прикрыв за собой дверь.

Она пошла на кухню и, попивая здесь за чистым, до блеска выскобленным столом кофе, тяжело задумалась: а как же ей, собственно, быть с неожиданно нагрянувшим родственником? Держать его, не показывая соседям? Все равно они

проведают о появлении какого-то подозрительного гостя. И не миновать ей неприятных объяснений с большевистским начальством!

Часа через два, когда из ее горницы раздался стариковский барственный кашель Ренненкампа, она, уже не стесняясь, вошла без стука и сразу задала волновавший ее вопрос:

— Скажите, братец, а паспорт у вас имеется?

— О да! — сказал генерал. — Меня снабдили... — Он протянул ей паспортную книжку. — Видишь? Федор Иванович Смоковников, из мещан города Витебска.

— Федор Иванович? — опешив, переспросила мадам Вейдель. — Пфуй, значит, вы уже не немец, братец?

— Чепуха, — отмахнулся генерал, вылезая из-под пухового одеяла, — я был немцем и останусь немцем. — А это... — он пренебрежительно махнул рукой в сторону паспортной книжки, — это временная маскировка. Ничего не стоит.

— Хорошо, — твердо сказала старуха, возвращая паспорт генералу, — хорошо! Вы, Федор Иванович, есть мой служащий. Вы имеете обрабатывать мой сад и чистить мой двор!

И она рассказала милостиво слушавшему ее «братцу» свой план.

Днем Ренненкампф лениво окапывал в саду фруктовые деревья. Соседи уже привыкли к его высокой статной фигуре старого солдата и вежливо через забор откликались на его шуточные приветствия.

— Веселый старичок к Ивановне забрел, — говорили соседки. — Война-то людей по всему свету разбросала, она не смотрит — молодой или старый.

— Поди, бездомный, — жалостливо вздыхали старушки, — ему и глаза-то закрыть некому будет.

— Глаза закрыть — это всегда охотник найдется, — мрачно заметил случившийся тут сосед, кожевенник Михайло, квелый человек в солдатской стеганке по колена и в заскорuzлых рыжих сапогах.

— Тьфу! — возмутились старушки. — Креста на тебе нет, Михайло!

— Это верно, что нет, — спокойно подтвердил кожевенник, с интересом всматриваясь в Ренненкампфа. — Сосед! — окликнул он генерала. — Да ты когда-нибудь раньше окапывал деревья? Уж больно по-барски копаешь, в полвершка!

Ренненкампф не торопясь выпрямился и спокойно ответил:

— Я ведь, сынок, всю жизнь в городе проработал, в Витебске, там и садов не видно.

— А кем работал? — без паузы спросил рабочий.

— Кем только не приходилось, — вздохнул генерал. — И по сапожному, и по слесарному... Всяко бывало.

— Ясно, — сказал Михайло. И снова, внимательно приглядевшись к Ренненкампфу, повторил: — Ясно!

В тот же вечер к генералу один за другим, прижимаясь в ночной темноте к забору, пришли пять-шесть разношерстно одетых, разных, но чем-то очень похожих один на другого молодых людей. Все проходили в заднюю комнату, столовую, с наглухо закрытыми ставнями, и садились за обеденный стол. На столе лежала чистая клеенка с голубенькими цветочками. На председательском месте, во главе стола, молча и грузно сидел, опершись локтями на стол, генерал Ренненкампф. Когда все собрались, он произнес небольшую речь.

— Господа офицеры, — сказал он, — мы должны облегчить и ускорить вступление в Таганрог дружественной нам германской армии...

— Дружественной?! — удивился один из офицеров, худой молодой человек со шрамом через лицо, видно от сабельного удара.

Ренненкампф тяжело посмотрел на него и, не повышая голоса, ответил:

— Да, дружественная нам, офицерам, германская армия. Она придет освободить страну от ига большевиков. Понятно, поручик?

Не дожидаясь реплики, генерал продолжал:

— По имеющимся у меня сведениям, передовые части германского ландсвера вступят к нам со стороны станции Марцево. Предлагаю установить сменное наблюдение, встретить белым флагом и доложить германскому командованию обстановку в городе на день вступления. Для этого вы должны быть в курсе дел в самом городе, в его органах самоуправления, знать о численности и составе большевистских частей. Поэтому приказываю...

Когда через час заговорщики стали по одному выходить, их ждали у ворот с десятком вооруженных рабочих и среди них — Михайло.

— Тихо, руки вверх! — негромко командовал кожевник Михайло каждому, и все безропотно подчинились. После ареста последнего, шестого по счету, он спросил:

— Кто этот старшой, у которого вы были?

Офицеры молчали.

— Ясно, — сказал Михайло и вошел в дом. На пороге его остановила Луиза Ивановна. На ней

была ночная кофта с кружевами, жидкие волосы ее были в папильотках, она прижимала молитвенно руки к груди и говорила, сбиваясь и плача:

— Ей-богу, я не знала, кто он есть! Ей-богу!..

Легонько отстранив старуху, Михайло вошел в горницу и насмешливо поклонился генералу:

— А я вас, ваше высокопревосходительство, сразу признал. Старые знакомые! Еще с той поры, когда вы изволили в русско-японскую нашего брата усмирять, может, помните?

И деловито добавил:

— Придется пойти вам со мной, гражданин Ренненкампф, ясно?

Переплетчик Дараган

Дараган был единственным переплетчиком в Таганроге. В те годы эта трудная и полезная профессия едва ли способствовала процветанию умельца. И книг, и заказчиков было мало. Дело осложнялось непреклонной гордыней Дарагана и удивительным обилием детей в его семье. Их было шесть или семь. Сам Дараган не сразу мог ответить на вопрос, сколько их. Полуприкрыв глаза, он рассеянно перечислял, загибая корявые, в навсегда присохшем клейстере пальцы:

— Анка, Вася, Ванюшка...

Свою жену Марфу Филипповну, тихую и неприветную женщину, Дараган называл по имени-отчеству и оказывал ей всяческое почтение. Однако в нем не было заискивания или опаски: он вовсе не чувствовал себя неудачником. Напротив, как ни странно, бедняга переплетчик, высокий, с поповской шевелюрой, слегка покосившийся на правую сторону человек, с острым носом и бородкой мочалкой, всегда одетый в рваный пиджак с чересчур длинными рукавами, глядел на мир заносчиво и даже с каким-то торжеством. Переплетное дело свое ставил высоко, не в пример другим ремеслам.

— Это вам не сапоги тачать, — говорил он, немного гундося. — Без переплета и книг бы не бывало, все пауки остановились бы.

Редких своих заказчиков Дараган встречал свысока, а когда за ним присылали из купеческих домов переплести «Всемирную иллюстрацию» или приложения к «Инве», он приходил обязательно с парадного, а не с черного хода и презрительно бросал горничной:

— Доложи: переплетных дел мастер пришел.

Слово «мастер» он произносил бог весть почему на немецкий манер.

В ожидании барина садился без приглашения. На вопрос хозяина — сколько будет стоить — горько усмехался:

— За мою работу, если по-настоящему платить, у вас, господин Канаки, и денег в банке не хватит. Посчитаемся.

А иногда заламывал несуразные цены и приводил в трепет старого грека — владельца кафе или постоянного своего заказчика нотариуса Пимонова. Выйдя в переднюю к Дарагану, нотариус старался говорить потише, чтобы не привлечь внимания своей супруги, Марии Николаевны, признанной таганрогской красавицей, похожей, по словам ее поклонников, на прославленную

европейскую знаменитость — танцовщицу Клео де Мерод. Пимонов покупал ей красивые издания, совершенно не считаясь с их содержанием, например «Курс палеонтологии» или «Историю Византии». Мария Николаевна была книголюбом, причем, в отличие от гоголевского Осипа, читала не ради интереса к самому процессу чтения, а ради того, чтобы потом поразить знакомых мужчин своими неожиданней познаниями.

Собственно, склонность Марии Николаевны к чтению скорее была во вред, чем на пользу супругу, но нотариус этого не подозревал. Видя красавицу жену за книгой, он от души радовался, что хотя бы в этот час она ни с кем не кокетничает. Словом, Пимонов был одним из выгоднейших клиентов Дарагана, и переплетчику не стоило бы заламывать здесь цены, вынуждая хозяина вополгоса торговаться: Мария Николаевна терпеть не могла скаредности мужа.

— Вот за эти книжонки — три рубля?! — ужасался нотариус.

— Да-с, — солидно подтверждал переплетчик, — какие же это книжонки? Извольте видеть: каждая побольше Библии!

— Придешь завтра, — шипел нотариус.

— Как угодно, — говорил Дараган, поднимаясь, — а только завтра мне приходится не с руки. Прощения просим.

Он снисходительно кивал головой и поворачивался к двери.

— Кто там? — слышался в это мгновение из соседней комнаты протяжный и ленивый женский голос.

Пимонов бледнел и совал книги в руку Дарагану:

— Бери, ради бога, бери и иди!

— Так что — три рублика, барин, — снижая голос, говорил перед уходом Дараган, но Пимонов только махал в отчаянии руками.

— Пожалуйста задаток, — шептал Дараган, отлично осведомленный о причинах томления заказчика, и протягивал шершавую руку.

Пимонов, приплясывая от нетерпения, совал ему рубль.

Дараган шел домой, даже не заглядываясь на вывески монополек. Вообще говоря, пил он редко: когда на душе станет уж очень несладко от нужды и унижений и когда потянет разбавить эту горечь и вдруг почувствовать себя сильным и независимым.

Придя домой, Дараган свалил книги на верстак и величественным жестом, молча, бросил на стол рублевую бумажку.

Марфа Филипповна сидела пригорюнившись в углу на табурете. В ее больших глазах застыло отчаяние. И вдруг — рубль! Это было спасение — ведь она уже готова была послать старшенького просить милостыню, не в силах больше смотреть на изголодавшихся детишек.

— Петя... Петруша...

— То-то же, что — Петруша, — бодрясь, солидно ответил Дараган, но, взглянув на жену и на молчаливых погодков, отвернулся. — Чего же ты... молчала? — хрипло спросил он. — Я бы к Евгению Осиповичу ходил!

Евгений Осипович, местный врач, лечил и взрослых и детей. Нет, не с него писал Чехов своего Ионыча: Евгений Осипович Возницын был не стяжатель. Не то чтобы он, подобно известному в городе доктору Иванову, отказывался от гонорара, но «выколачивать» деньги с бедняков он не любил. Случалось, что сам давал денег пациентам на лекарство или на молоко ребенку, немного, но все-таки давал. Семью переплетчика лечил издавна. Болезненной Марфе Филипповне и ее детям Возницын не раз прописывал лекарства и сам же их оплачивал. Бывало, что в особо крайних случаях переплетчик шел к доктору и одалживал у него то рубль, то даже трешницу... В общем, «задолжал» он Евгению Осиповичу не менее чем с полсотни,

сумму для переплетчика огромную. Марфа Филипповна потому и не решалась идти к доктору за новым займом. Но на другой день Возницын неожиданно пришел сам и повел какой-то странный разговор.

Чтобы понять это посещение, Дарагану надо было бы знать, что доктор совсем недавно, как-то невзначай, стал членом партии кадетов. Сманил доктора его же пациент — чернобородый прокурор Михаил Петрович Араканцев.

— Нельзя, нельзя, доктор, — гудел Араканцев, когда они Накануне встретились в Коммерческом клубе, у стойки буфета. — Вся интеллигенция объединилась на платформе конституционно-демократических требований, один вы в стороне.

Евгений Осипович чуть не поперхнулся рюмкой водки. «Объединились» и «на платформе» — это были какие-то новые, пугающие слова, особенно странные в устах грозного прокурора. С другой стороны, если уж сам прокурор, не стесняясь буфетчика Федотыча, громко произносит поджигающие слова, то и в самом деле надо ли оставаться в стороне? В студенческие годы Евгений Осипович считал себя революционером, ходил на сходки и голосовал за трехдневные забастовки протеста. Сейчас он поостыл, но раз уж его зовет в

партию с таким завлекающим названием умереннейший и влиятельнейший Михаил Петрович... Наверно, это очень стоящая партия! Да, в конце концов, Евгений Осипович всегда лелеял в душе идеи парламентаризма! Последнее время он, правда, перестал думать об установлении в стране конституционных порядков, то были годы, заполненные работой в больнице и растущей частной практикой. Но жажда свободы слова и печати, в каких-то, конечно, разумных пределах, всегда жила о его душе.

— А как же насчет желательного строя? — озабоченно спросил Евгений Осипович.

— Ограниченная монархия, дорогой мой, вот идеал! — спокойно ответил прокурор, отправляя в рот еще одну, кажется уже пятую, рюмку. — Король царствует, но не управляет.

Евгений Осипович испуганно огляделся, однако на слова прокурора никто не обратил внимания. То ли еще в те дни говорилось публично!

— Что же, это меня устраивает, — твердо сказал доктор. — Где я могу записаться?

— Приходите на заседание старейшин, — предложил Михаил Петрович. — У меня на квартире. Завтра в восемь вечера.

Тут же выпив шестую или седьмую рюмку, прокурор неожиданно запел студенческую песню

«Гаудеамус игитур», азартно дирижируя невидимым хором.

Вечером следующего дня Евгений Осипович сидел в большом мрачном кабинете Араканцева среди влиятельнейших людей города и с восторгом слушал речь таганрогского «златоуста» присяжного поверенного Александра Сергеевича Золотарева.

— Мечта святых борцов за свободу — декабристов — свершилась! — горячо говорил мягким тенором оратор. — Падающее знамя из рук Пестеля подхватили мы, партия народной свободы. И будем держать его высоко, клянемся в этом!

В конце своей речи Золотарев коснулся прихода в боевой стан русской интеллигенции нового соратника, друга и целителя Евгения Осиповича.

— Приветствуем в его лице представителя русских медиков! — заключил Золотарев.

Все заплодировали. Евгений Осипович был растроган и кланялся, прижимая руки к манишке.

После речи таганрогского «златоуста» присутствующие обменялись мнениями относительно предстоящих выборов в первую Государственную думу.

Податной инспектор Семен Семенович Карнаухов, один из основателей местного отделения партии, внес неожиданное предложение:

— Надо, чтобы на выборах за нами пошли ремесленники, приказчики и даже рабочие!

— Дорогой Семен Семенович, — перебил его Золотарев, — рабочие вообще не в счет, их будет допущено к голосованию... весьма немного. Выборный закон изволите знать?

— А хоть бы и немного, — не сдавался Карнаухов. — Все равно.

— А что вы рекомендуете? — нетерпеливо спросил Золотарев. Он терпеть не мог, когда вносили предложения помимо него.

— По-моему, следует включить в число выборщиков от нашей партии какого-нибудь пролетария.

— А кто к нам из пролетариев пойдет? — спросил хлебный экспортер Бесчинский.

И тут Евгения Осиповича точно осенило.

— Дараган пойдет! — воскликнул он, удивляясь в душе собственной смелости.

Кое-кто вспомнил переплетчика Дарагана. Хотя он был из беднейших таганрогских ремесленников, в списках мещанской управы переплетчик числился «владельцем рукомета с собственным оборудованием» и поэтому, пожалуй, мог претендовать на избирательный ценз.

— Пожалуй, это — идея, — лениво согласился Араканцев. — А кто с ним поговорит?

— Еще у древних греков был обычай, — усмехнулся Золотарев, — тот, кто на ареопаге внес предложение, тот его осуществляет.

Оптовый торговец гастрономическими товарами Ахиллес Аргиропуло сверкнул глазами-маслинами и с одышкой произнес:

— Я сам — древний грек!.. Не было такого обычая!

— Был!

— Не было, эмаста! Поднялся шум.

— Довольно! — перекрыл все голоса звучный голос Золотарева. — Нас интересует не столько древняя история Эллады, сколько наша, российская, новейшая история. Я предлагаю поручить переговоры с Дараганом именно доктору Возницыну. Переплетчик — его пациент, это тоже немаловажно. А я судебных процессов Дарагана не вел, ему за переплеты платят и без суда!

Все засмеялись. И только Ахиллес Аргиропуло с надменным видом закручивал вверх свои изящные мушкетерские седеющие усы.

...К переплетчику доктор пошел днем, после визитаций. Дараган и вся его семья обедали в кухоньке за некрашеным столом. Обед их заключался в двух таранках и краюхе хлеба. Правда, у Марфы Филипповны хранилась сдача с рубля, но она твердо решила «растянуть» эти деньги на

несколько дней. Доктор появился неожиданно, это испугало боязливую Марфу Филипповну, еще больше ее испугало смущение на лице врача.

Дараган, торопившийся отнести к Пимонову переплетенные книги и поскорее получить остальные два рубля, совсем не обрадовался доктору: «Неужели он пришел требовать свой долг?.. Черт его знает, с этими барами всего жди!..»

Евгений Осипович несколько загадочно сказал:

— Мне бы с вами, Петр Кузьмич, поговорить... наедине.

«Так и есть! — тяжело вздохнул Дараган. — За деньгами, черт, пришел».

Однако Дараган вежливо повел доктора в залу, где был приставлен к стене, как для расстрела, шкаф неизвестного назначения. Стульев не было, недавно последний Марфа Филипповна продала старьевщику.

— Надеюсь, манифест семнадцатого октября в свое время вы читали? — спросил доктор, прислонившись к притолоке.

Переплетчик подумал: «Издалека начинает...»

— Как же, читал, — заверил его Дараган, однако, по совести говоря, он хоть и пытался



прочеть когда-то расклеенный на улицах листок с манифестом, но не очень уразумел царские посулы.

— Ну и что же? — настойчиво продолжал доктор. — Не думаете же вы остаться в стороне от политической жизни?

— Как можно, — откликнулся переплетчик. — Ни-ни!

— В таком случае, — сказал Евгений Осипович, — вы, безусловно, согласитесь вступить в нашу партию, чтобы грудью бороться за народную свободу!

«Уж не выпил ли?» — опасливо подумал переплетчик.

— Это же... в какую партию? — осторожно спросил он.

— В конституционно-демократическую! — многозначительно ответил доктор. — Все лучшие люди в ней состоят: присяжный поверенный Золотарев, Константин Эпаминондович Канаки, Николай Николаевич Пимонов...

Дараган опять вспомнил, что ему уже пора идти к Пимонову, и заторопился.

— Согласен! — сказал он и от усердия выпятил по-солдатски грудь. — А что я должен делать?

— Придете на митинг в театр «Аполло»! — радостно проговорил доктор. — Там вы скажете

несколько слов... Ну, о том, что все ремесленники Таганрога сочувствуют партии, возглавляемой Милюковым и Родичевым... В семь часов вечера!

Доктор ушел, а переплетчик вернулся на кухню и сказал жене не то серьезно, не то с легкой иронией:

— Теперь я — кум королю. Важные господа в свою компанию принимают!

* * *

На квартире Золотарева еще раз заседал кадетский комитет. После того как доктор доложил об удаче своей миссии, взял слово сам Золотарев.

— Заслуга, оказанная партии Евгением Осиповичем, гораздо важнее, чем то кажется на первый взгляд, — начал он в своей обычной сладкозвучной манере. — В процессе происходящих в данный момент выборов в первый российский парламент весьма важно по образцу английскому привлечь наивозможно больше симпатий избирателей. Мы должны печься о малых сих. А между тем еще не преодолен нами предрассудок, будто бы конституционно-демократическая партия — это партия лишь имущего класса. О, как это неверно! Пусть во главе идет цвет русской интеллигенции, пусть просвещенные и свобододолюбивые владельцы торговых и иных предприятий...

— И образованные помещики! — восторженно произнес худой господин в пенсне, крупный землевладелец Платонов.

— ...и помещики! — подхватил Золотарев. — Помещики, которые готовы в интересах народа предоставить свои имения к выкупу крестьянам по справедливой оценке, как сказано в программе нашей партии. Так вот, господа: нам надо рассеять предубеждения, посеянные бесчестной агитацией крайних левых элементов! Нам надо показать, что мы — партия широких слоев общества. И в этом смысле появление в наших рядах простого мастерового, этого Дарагана, будет крайне уместным. Конечно же он должен выступить в «Аполло» с речью!..

Дальше были решены некоторые деликатные вопросы, связанные с предстоящим явлением народу Дарагана: выдача ему полета рублей единовременного пособия из «партийной кассы» (деньги дал не то Канаки, не то Пимонов, не то сам Золотарев) и покупка нового костюма, а также обуви. Впрочем, хитроумный Золотарев решительно воспротивился переодеванию переплетчика.

— Костюм мы ему купим, но выпустить его надо в его обычном затрапезном виде, — предложил он. — Пусть публика видит, что к нам идут, так

сказать, трудящиеся и обремененные, говоря евангельским языком...

Все согласились на том, что Дарагана надо выпустить в привычном для всех обличий, то есть в рваном пиджаке, в брюках мочального цвета и в дырявых сапогах. Главное, чтобы он произнес речь. Ну, например, об аграрной реформе, предлагаемой программой кадетов.

— Текст речи я напишу, — заверил Золотарев.

— Почему именно — об аграрной? — с сомнением спросил Ахиллес Аргиропуло.

— Потому что земельная реформа, по заветам нашей партии, больше всего затронет население России и всколыхнет народную благодарность! — как всегда красноречиво воскликнул Золотарев.

Остальные не спорили: наступил уже вечер, пора было идти в Коммерческий клуб. Все поднялись.

«Если я дам ему эти пятьдесят рублей, — тревожно размышлял доктор Возницын, торопясь по еле освещенным улицам Таганрога на окраину, где жил Дараган, — он, чего доброго, запыет. Если не дам — не получится эффекта и он откажется выступать на собрании. Как же быть?»

Чуть не провалившись в темноте на каком-то дырявом мостике, перекинутом через канаву, доктор чертыхнулся и вдруг решил: «Деньги я дам не ему, а его жене!»

С облегченной душой Евгений Осипович постучался в двери покосившейся хибарки. Впустила его Марфа Филипповна. В комнате чадила керосиновая лампа. Меньшие дети спали на огромной деревянной кровати, накрытые рваным одеялом. Старший, Ваня, большеглазый мальчик, похожий на мать, придвинув книжку к лампе, стоявшей на столе, учил уроки: в прошлом году он окончил городское четырехклассное училище, теперь мать почему-то надеялась, что его бесплатно примут в гимназию. Отца семейства дома не было.

— А где Петр Кузьмич? — тревожно спросил доктор, поздоровавшись и присаживаясь на трехногую табуретку.

Марфа Филипповна только всхлипнула и вытерла глаза уголком косынки.

— Загулял?! — с ужасом вскрикнул доктор, поняв, что весь план готов рухнуть.

Марфа Филипповна молчала. Молчал и Ванюша, крепко сжав губы.

— Вот что, — надумал доктор после долгой паузы. — Пусть Ваня побежит отыщет отца и притащит домой.

— А вы, Марфа Филипповна... — Доктор полез в карман и вынул пять красных бумажек. — Вот возьмите и спрячьте. Мужу не давайте, ни-ни! Пусть вам будет на расходы, ну там на одежонку. А что касается мужа, то скажите ему: пусть ходит в магазин Адабашева, к старшему приказчику, и получит костюм-тройку. Башмаки ему дадут тоже, ну и это... бельишко. Но только, как бы это сказать?..

Доктор хотел объяснить, что именно Дараган за все эти благодеяния обязан был сделать, но, посмотрев на жену будущего партийного деятеля, замолчал. Марфа Филипповна, как замороженная, глядела на деньги и не смела взять их в руки. Никогда она не держала таких денег! И не кроется ли здесь какое-нибудь страшное преступление, которое должна «взять на душу» она или ее несчастный муж? С одной стороны, не похоже на милого доброго доктора, но с другой — как-то боязно: вдруг ни за что ни про что дают полсотни да еще костюм и белье в придачу. Что-то здесь нечисто!

Оторвавшись от книги и повернув фитиль в лампе так, что теперь свет падал на лицо доктора, Ваня тоже с недоверием и страхом глядел на него.

— Да возьмите же! — с досадой повторил доктор, протягивая кредитные билеты Марфе

Филипповне. — Что я вас, на убийство нанимаю, что ли! Просто нам требуется от вашего мужа небольшая услуга. Даже не услуга, — запутался доктор, — а как бы сказать? Ну, приобщение к обществу... Хочется, чтобы Петр Кузьмич на людей посмотрел и себя показал. Ну, выступил бы завтра на митинге, потребовал бы выкупа земли по справедливой оценке, как этого желает наша программа!

— Нам земля без надобности, — тихо сказала Марфа Филипповна, по-прежнему не беря денег. — Нам бы вот клею переплетного купить да коленкору на обложку.

— Вот-вот! — обрадовался доктор и стал совать бумажки в руку женщины. — И клею купите, и коленкору, и вот старшему сынишке...

Доктор критически оглядел хилого мальчика, нищенски одетого.

— Купите штаны и... Это я уже как врач говорю: ему надо лучше питаться! Сливочного масла и яичек!

— Не надо мне масла, — сердито буркнул мальчик и поглядел на доктора исподлобья, как волчонок.

— Что ты, Ванюша! — испугалась мать. — Так отвечать нашему благодетелю! Да я век буду

благодарна! — заплакала она. — Век за вас божьей матери молиться буду!

Она уже взяла деньги.

— Так вы пошлите мальчика! — напутствовал доктор на прощание. — И когда ваш муж придет в себя, пусть меня повидает. Да срочно! Я ему все объясню. Ну, прощайте! Мальчика сейчас же пошлите!

— Да я сама пойду, я скорее его найду, — кланялась доктору в ноги Марфа Филипповна. — Не извольте беспокоиться!

Доктор ушел, солидно покашливая и стараясь не глядеть на Ваню, который ему очень не понравился своей несговорчивостью.

* * *

В театре «Аполло», обычно вмещающем человек двести, на этот раз набилось вдвое больше. Уже митинг открыл бородатый и внушительный Араканцев, а в двери еще ломились таганрогские обыватели, привлеченные необычным зрелищем: как было сказано в афишах, выпущенных Таганрогским комитетом партии кадетов, «сегодня выступят господа присяжные поверенные А. С. Золотарев, М. П. Араканцев и другие ораторы».

Председательствовал Араканцев. Рядом с ним на сцене за столиком, покрытым зеленым

сукном, сидели заправили кадетской партии. Один за другим выступали заранее записанные ораторы; Араканцеву передавали записки и из глубины зала, где толпились рабочие, но он откладывал их в сторону. Наметанным глазом прокурор легко распознавал, кто именно просит слова и ради чего он его добивается. Председатель с надеждой поглядывал на «чернь» у входной двери: не пришел ли Дараган? Но переплетчика не было...

А тем временем Дараган бродил по пустынному городскому саду и зубрил свою короткую речь, собственно, даже не свою, а написанную для него Золотаревым.

— «Как представитель трудового народа, — торжественно начинал он, — я должен сказать вам, уважаемые господа...»

Запомню, однако, что именно он должен сказать, Дараган морщился и засматривал в бумажку. Ага!.. «Земля должна быть передана землепашцам, но, памятуя священное право собственности, здесь должен быть применен принцип уплаты выкупной стоимости по справедливой оценке».

Слова «справедливая оценка» заставили Дарагана вспомнить нечто не относящееся к делу: в прошлом месяце он отнес в залог свое теплое

пальто, а оценщик предложил ему только полтора рубля.

С тяжелым сердцем, все время повторяя, уже не вслух, а про себя, текст речи, переплетчик приблизился к мигающему огнями фасаду «Аполло». Необычные мысли теснились у него в голове и заставляли неровно биться сердце. Теперь, как только переплетчик доходил до «справедливой оценки», он вспоминал своего отца — крепостного крестьянина, «освобожденного» при царе Александре Втором и на всю жизнь оставшегося в невылазной сети выкупных платежей за клочок земли.

«Тоже ведь по «справедливой оценке» платил старик. — распаялся Дараган, — потому нас, детишек, и оставил нищими!»

На широкой площадке перед монументальными дверями толпился народ. Все старались протиснуться внутрь, им распорядители в сюртуках и с красными бантами кричали: «Мест нет, господа!»

Однако Дарагана пропустили тотчас же, и он впервые в жизни почувствовал, что ему все вокруг завидуют. Кузьмич был тертый калач и отлично понимал, чем дышат люди.

Один из распорядителей, почтительно придерживая его за локоть, проводил в зал...

Здесь Дарагана поразили громкие выкрики, сердитые реплики с мест, словом, атмосфера разгорающегося скандала. Кадетам не давали говорить, прерывали их резкими замечаниями, порой даже свистом.

— Господ эсдеков просят вести себя спокойнее! — поднявшись со стула, злобно крикнул Араканцев.

И тут вдруг заметил в зале костлявую фигуру переплетчика. Немного торжественно и даже театрально председатель провозгласил:

— Господа, мне доставляет особое удовольствие предоставить слово господину Дарагану. Позвольте вас познакомить с оратором: Петр Кузьмич — человек из народа. Живет он небогато, всё это знают...

— За вами разбогатеешь! — раздался чей-то насмешливый бас.

Араканцев сделал вид, что не слышит, и продолжал, следя за тем, как по шаткой лесенке на сцену, точно на эшафот, поднимается красный от волнения Дараган:

— Конституционно-демократическая партия привлекает к себе не только представителей... гм... интеллигенции, но и рабочий люд!

— Чепуха! — спокойно, но очень громко произнес из третьего ряда молодой человек с пушистой бородкой.

Араканцев бросил на молодого человека недобрый взор, но в дискуссию не вступил и обратился к собранию:

— Господа, внимание! Ваше слово, уважаемый Петр Кузьмич!

Дараган никогда не выступал публично. Подняв глаза и увидев перед собой переполненный бурлящий зал, он испугался. Во рту у него пересохло.

В зале кое-где возник смехок, послышались какие-то выкрики. Тогда Дараган дрожащей рукой полез в карман, вытащил измятую, замусоленную бумажку и, задыхаясь от волнения, стал читать:

— Граждане, земля должна быть передана... этим... которые... земле... земле...

— Землевладельцам, — зло рассмеялся все тот же молодой человек с пушистой бородкой.

— Так точно, землевладельцам! — вдру гаркнул Дараган по-солдатски. — Согласно справедливой оценке! — Он уже кричал, нервно комкая бумажку. — Потому священное право собственности... Дальше запомнил, ваши благородия!

В зале стоял хохот. Араканцев звонил в колокольчик, но безуспешно. Шум и выкрики нарастали.

Дараган оглядывал зал, как затравленный. «Что я Марфе Филипповне скажу? — с ужасом думал он. — Что, мол, оскандалился? Очень уж она огорчится...»

Он ясно себе представил измученное лицо жены и почувствовал, что оторопь оставляет его. Он выпрямился и уставился в чернобородого Аракапцева, делавшего ему знаки: убирайся, мол!

Все зло, скопившееся в Дарагане на тех, кто обижал и обездоливал его, вдруг вспыхнуло в нем против этого величавого барина. Дарагану захотелось сказать ему что-нибудь пообиднее.

— Штанами подкупили?! — страдальческим голосом закричал он и сделал шаг к столу председателя. Араканцев испуганно съежился. — Да я эти самые штаны, господа хорошие... Кусок хлеба недоем, а деньги верну вам. Подавитесь!

Кто-то уже пытался увести Дарагана со сцены, кто-то восторженно кричал «браво!», но большинство сидевших в зале стихли, понимая, что этот смешной, нескладный человек стал в чем-то выше важных и самоуверенных господ в первых рядах. А переплетчик кричал в лицо Араканцеву:

— По справедливой оценке землицу сулите?
Стало быть, подороже? А у кого деньги?!

— Мы предлагаем в рассрочку! — перебил
вскипевший Золотарев. — Понимать надо!

— Понимаем, — парировал Дараган. — Отцы
наши уже хлебнули вашей рассрочки!

В свою очередь Араканцев выкрикивал:

— Неконституционно!.. Откладывается! До
особого оповещения!

Толпа уже и без того хлынула из зала в сад.
Слышалось:

— Дараган!.. Качай Дарагана!

Но Дарагана нигде не было видно.
Поглощенный новыми чувствами и мыслями, он
размашисто шагал домой.

Инженер Свиридов

В 1919 году в Таганрог перебазировалась ставка верховного главнокомандующего Юго-Востока России генерала Деникина.

Вслед за ставкой съехались миссии около полутора десятков держав, пытавшихся задушить молодую Советскую республику.

Штаты иных миссий были малочисленными. Бельгийскую и румынскую державы, например, представляли в единственном числе: Румынию — небольшого роста капитан с опереточной фамилией Популеску, Бельгию — рослый, упитанный майор Ван-Рорер. Начальник квартирнерского отдела штаба Деникина полковник князь Щербатов отвел обоим для проживания особняк местного врача, предварительно выселив его в 24 часа и строго запретив вывозить обстановку.

Чиnam многочисленной английской миссии был оказан особый почет. Не говоря уже о старших офицерах, но и самому младшему из них, капитану Кляйвелю князь Щербатов, суетясь и поминутно вытягиваясь, как юнкер, предлагал на выбор лучшие особняки на самой аристократической улице города — Греческой, с фруктовыми садами и розариями.

Капитан Кляйвель сухо отказался от всех предложений и избрал своей резиденцией

небольшой приземистый домик на Николаевской улице, принадлежавший его теткам, старым девам мисс Элизабет и мисс Кэтрин Кародерс.

В этом маленьком домике с душными комнатами, заставленными кадками с меланхолическими пальмами, с развешанными по степам портретами стариков в морской военной форме и старух с ханжески поджатыми губами, когда-то провел свое детство Эдуард Кляйвель. Отец его, вечно пьяный разорившийся чайный торговец, выхлопотал в девяностых годах прошлого века назначение в Таганрог на пост английского вице-консула и вывез с собой всю семью: тихую, болезненную жену, ее двух незамужних сестер и маленького сына. Жена вскоре умерла, и Эдуард рос под наблюдением теток, не устававших бранить его отца за непробудное пьянство и за невозможность подыскать себе в этом многоязычном городе порядочных женихов.

Научившись русскому языку от дворовых мальчишек, Эдуард брал затем уроки у домашней учительницы, десяти лет выдержал экзамен в первый класс гимназии и в положенное время гимназический курс закончил. Когда умер вице-консул, не оставив состояния, тетки отправили племянника в Англию к дальней родне...

В разгар первой мировой войны Эдуард сменил пиджак скромного клерка на солдатский мундир. В общем, он сделал превосходную военную карьеру: заключение перемирия застало его с нашивками капитана и с большим окладом жалованья, присвоенным ему как офицеру армейского разведывательного бюро. Отличное знание русского языка и русских обычаев заставило высшее командование обратить на капитана Кляйвеля особое внимание. Справки о служебном рвении молодого разведработника и о его благонамеренном образе мыслей окончательно решили дело, и Кляйвель был откомандирован в хорошо ему знакомый Таганрог.

Подтянутый, с холодными серыми глазами на худощавом, чисто выбритом лице, с пухлыми губами керувима.

Кляйвель еще более подтянулся, узнав о назначении. «Они не ошиблись, — самодовольно подумал он. — Кто из англичан лучше меня знает душу русского человека? Русские интеллигенты против большевиков. А так называемый русский народ любит сильную власть, и мы его тоже заставим идти за нами».

С этими приятными мыслями он ступил на борт английского военного корабля, отплывавшего в Россию...

* * *

Путь из Таганрога на Русско-Балтийский завод лежал недалеко от моря. У развилки надо было повернуть направо, по немощеной, вновь проложенной улице, мимо жилых домиков, крытых соломой. А если повернуть налево — дорога вскоре приведет к обрывистому берегу Таганрогского залива, к почти повисшей над кручей беседке, где когда-то бывал царь Александр Первый.

Главный инженер снарядного цеха Русско-Балтийского завода Иван Павлович Свиридов в это раннее летнее утро ехал на службу в казенной тряской пролетке. Уже прошло три года со времени его переезда вместе с заводом с севера в Таганрог и два года со дня гибели его единственного сына прапорщика Николая Свиридова. Два года — слишком малый срок. И все-таки вполне достаточный для того, чтобы постареть на десять лет. К постоянной, никогда, даже во сне, не покидающей его скорбной мысли о сыне примешивалась ненависть к человеку, которого Иван Павлович считал виновником своего несчастья.

«Глупый, ничтожный адвокатишка, — думал он о Керенском, не замечая, что в воздухе становится жарко, и забыв снять пальто, столь обычное на севере и неуместное здесь, в

приазовской степи. — Премьеру понадобилось для поднятия своего престижа наступление! И он погнал людей на гибель, на смерть! Фанфарон!»

Последние слова Свиридов невольно сказал вслух. Возница, молодой парень с опухшей и перевязанной грязной тряпкой щекой, опасливо оглянулся, но промолчал. Числясь на заводе рабочим, он пользовался «отсрочкой» от призыва в армию и слишком дорожил этой привилегией, чтобы о чем бы то ни было спрашивать седока — начальника цеха. Исход беседы с барином всегда был сомнителен!

Уже въезжая в заводские ворота и кивнув вытянувшемуся привратнику, Иван Павлович поморщился: он вспомнил, что и сегодня опять не избежать скучных разговоров о чрезмерном браке снарядных стаканов. Что-то уж слишком часто об этом говорят. Вчера вот приезжал из Ростова главный артиллерийский приемщик генерал Фуфаевский и плакался: «Фронт задыхается без снарядов!» А сам генерал (это Свиридову было хорошо известно) получил от дирекции завода золотой портсигар и ящик шампанского за то, что тот уменьшил в акте приемки цифру брака вдвое!

Свиридов, брезгливо морщась то ли от этого воспоминания, то ли при виде захламленного, немощеного заводского двора, тяжело спрыгнул с

подножки пролетки и, увязая в подсыхающей грязи, ступил в цеховую контору. Здесь было душно и неуютно. Пожилая конторщица с усталым лицом стучала на счетах. Не снимая пальто и кивнув конторщице, Свиридов опустился на стул у приземистого пузатого стола. Тотчас в дверях конторы появился мастер, усатый красавец в плисовом пиджаке, и сказал звучным голосом:

— К вам, Иван Павлович.

— Какой процент брака сегодня в ночной смене? — холодно спросил Свиридов.

Мастер почтительно ответил:

— На одной обдирке теряем двадцать процентов, Иван Павлович.

— А всего?

— До сорока. — Мастер сочувственно вздохнул и развел руками: — Резцов новых нет — это первое. А второе... — Он повел глазами на конторщицу, и та немедленно поднялась и молча вышла из конторки. — А второе...

Мастер подошел ближе к Свиридову и, обдав его легким винным перегаром, тихо сказал, почти шепнул:

— Большевики у нас в цехе орудуют, Иван Павлович. Я сам вчера во время работы слышал...

Свиридов рывком встал, положил ладонь на стол и, не повышая голоса, сказал:

— Я вам не жандармский ротмистр, чтобы разбирать доносы. Можете идти.

Мастер с удивлением посмотрел на инженера. Видно, тот не понял.

— Большевистская агитация... Я их всех поименно знаю! — доверительно заметил он.

— Уходите!

Мастер, пожимая плечами и виновато улыбаясь, вышел, аккуратно притворив за собой дверь. Не иначе, начальник с левой ноги нынче встал! Придется зайти в другой раз...

А Свиридов стал просматривать журнал ночной смены.

* * *

На второй день приезда в Таганрог, превосходно выпавшись в кровати своего покойного отца, капитан Кляйвель позавтракал в обществе обеих старушек, молитвенно взиравших на этапы насыщения полубога. Потом Кляйвель поехал в гостиницу «Европейскую», где расположились секретные учреждения штаба Деникина.

Повез капитана в щегольской рессорной коляске пожилой, бородатый, с серебряной серьгой в ухе казак Нефедов. И коляска, и Нефедов, и выездной вороной жеребец Грозный были

«прикомандированы» князем Щербатовым к особе капитана в полное его распоряжение.

Грозный сразу выказал свою орловскую повадку, высоко и несколько в сторону, с тяжеловесным изяществом поднимая на крупной рыси передние ноги и почти не колыхая широким, как печь, крупом. Нефедов, не оборачиваясь, крикнул с искренним восхищением знатока и Любителя:

— Идет-то как, ваше благородие!

Капитан поморщился: «Неискоренимая привычка русских нижних чинов к пустому разговору!»

Прохожие угрюмо посматривали на мчавшуюся коляску с английским офицером. Они уже многое видели за эти месяцы нашествия иностранцев...

Проезжая мимо католического костела с огромной латинской надписью на фронтоне: «Ex tuis bonis tibi offerimus» («Из твоих же даров тебе приносим в дар»), капитан с неудовольствием отметил, что несколько вышедших из костела итальянских «тененте» — лейтенантов — не откозырнули ему.

«Союзнички!.. — с раздражением подумал он. — Какое счастье, что в дело ликвидации большевизма вмешались мы!»

Коляска уже подъезжала к длинному двухэтажному зданию гостиницы «Европейской».

«Сейчас узнаю создавшуюся ситуацию», — подумал Кляйвель.

Впрочем, ситуация в основном казалась ему ясной: в «этой полуазиатской стране» вспыхнул бунт; к счастью, могучая Британия имеет кое-какой опыт в усмирении бунтов. Британский интеллект... ну, и британские вооруженные силы, и британское снаряжение, дружеская поддержка французских и американских партнеров сделают свое дело. С этой стороны, насколько знал капитан Кляйвель, дело обстояло неплохо... но с его приездом должно пойти лучше. Да, на него возложены обязанности, которые, как он слышал, не блестяще выполнялись его предшественником.

Обязанности эти заключаются в некоторой... гм-гм... да, именно «в некоторой дружеской консультации с разведывательными органами правительства Деникина в желательном для обеих сторон направлении». Так сказано в служебной инструкции капитана Кляйвеля. Отлично! Эдуард Кляйвель не мальчик, и ему не требуется толковый словарь. Желательное направление — вполне понятно, сэр. Будет исполнено!..

Сидя в кабинете начальника контрразведки полковника Шавердова (собственно, это был не

кабинет, а литерный номер в гостинице: желтые драпри на дверях, вытертый кавказский ковер на полу, мебель, обитая зеленым плюшем), капитан отрывисто говорил, одновременно внимательно приглядываясь к своему собеседнику («Для начальника розыскного учреждения, пожалуй, чересчур молод... Но нижняя челюсть развита достаточно. Почему под глазами мешки? Конечно, пьет без всякой системы...»):

— Вы недостаточно эффективно вылавливаете большевистских смутьянов. Я здесь всего два дня, но знаю, например, что они на Русско-Балтийском заводе хозяйничают, как у себя дома.

— Принимаются меры, — поспешно вставил полковник.

Кляйвель только усмехнулся:

— Меры? Меры хороши, когда они приводят к желательным результатам. Вашей армии необходимы снаряды, весьма необходимы. Вам это известно?

— Так точно, — сказал полковник, — но...

— Вот именно «но», — строго остановил его Кляйвель. — «Но» заключается в том, что рабочие, разложенные большевистской агитацией, выпускают совершенно негодные снаряды. Это крайне серьезно. Мы отлично осведомлены о том,



что большевики добились полного срыва выпуска снарядов на здешних заводах. Это была одна из весьма существенных причин вашего недавнего поражения на всех фронтах. Если бы не наша помощь...

— Она была спасительной. — Полковник звякнул шпорами и поклонился.

Но Кляйвель остался холоден.

— Как это ни парадоксально, — сказал он жестоко, — а все же истинным хозяином положения в Таганроге являлись и являются большевики.

Полковник чуть покраснел и ответил, с трудом подавляя раздражение:

— Никак нет. На днях мы кое-кого изъяли...

— Ах, дорогой полковник... — Кляйвель насмешливо посмотрел на Шавердова. — Кстати, я чуть не забыл вас спросить. Как это здешним большевикам удалось освободить группу арестованных вами забастовщиков? Если не ошибаюсь, вы и тогда возглавляли здесь контрразведку?

— Если бы у большевиков была одна голова, — вырвалось у полковника, — я сумел бы ее отрубить. Но это — многоголовая гидра!

Кляйвель смягчился. Ему понравилась искренность полковника.

— Я надеюсь, что вам и нам удастся отрубить все головы, начиненные большевистскими идеями, — любезно сказал он. — Но мне кажется, что для этого нужно некоторое расширение методов работы. Не пробовали ли вы выяснить, на каких позициях стоит техническая интеллигенция Русско-Балтийского завода?

«Боже, какой пижон!» — подумал Шавердов.

— Полагаю, — почтительно сказал он, — что техническая интеллигенция завода твердо стоит на позициях Добрармии. Русские инженеры не могут не считать большевиков изменниками родины!

«Глуп... и вдобавок фразер», — поморщился капитан.

— Я тоже так думаю, — произнес он холодно, — но в таком случае почему же не попробовать привлечь к работе ну хотя бы верхушку инженерства того же Русско-Балтийского завода, который решает вопросы боепитания русской армии? Войну выигрывает тот, кто умеет находить союзников.

Полковник с досадой что-то сказал о нелепых предрассудках, которые мешают нашим инженерам активно помогать контрразведке, но Кляйвель, уже не слушая, поднялся.

— Очень был рад познакомиться, — сухо сказал он на прощание.

* * *

Через три часа после того, как Свиридов выгнал мастера, вопрос о снаряжном браке всплыл снова.

Во время обеденного перерыва инженер встретил во дворе молодого слесаря Добриевского, о котором знал, что он пользуется уважением рабочих. «Наверно, большевик, — подумал Свиридов, — и, может быть, даже один из зачинщиков».

Добриевский вежливо поздоровался с инженером. Тот остановился и сказал:

— Подождите... — И замолчал, о чем-то задумавшись.

Добриевский внимательно и спокойно смотрел на Свиридова. Он знал, что старый инженер хорошо относится к рабочим.

— Вот что, Добриевский, — решил наконец Свиридов, оглядевшись. — Не многовато ли — сорок?

Добриевский искоса взглянул на инженера и пожал плечами.

— Вы отлично понимаете меня, — совсем понижая голос, продолжал Свиридов. — Сорок процентов брака — это слишком бросается в глаза.

— Мы тут ни при чем, — с лукавинкой вздохнул Добриевский и развел руками. — Будем, конечно, стараться...

— Гм, будем... — проворчал Свиридов, чуть усмехаясь уголком рта. — Ну что ж, старайтесь.

Он холодно кивнул и пошел своей дорогой, а Добриевский задумчиво посмотрел ему вслед и быстро зашагал к цеху.

* * *

Лучшее общество бывает у Сарматовой. Она — бывшая знаменитая кафешантанная певица и танцовщица. Сейчас ей за пятьдесят. Больше она не поет и не танцует. Теперь содержит в Таганроге фешенебельный летний сад с эстрадой. По вечерам бывают у Сарматовой офицеры, адвокаты, петербургские и московские тузы, заброшенные в

Таганрог революционной бурей. Появляются и иностранцы. По аллеям, усыпанным гравием, прогуливаются люди, обладающие весом и положением. В буфете к их услугам — французский коньяк, английское виски. Пить английское виски считается теперь шикарным. А на открытой эстраде ежевечерне выбивают чечетку настоящая мулатка и почти настоящий мулат: смуглый грек или турок из одесского «Тиволи». Мулатка танцует совсем голая, на ней только что-то вроде фигового листика из перьев диковинной птицы. Тело ее блестит от пота. Мулат — во фраке, в раскисшем от жары крахмальном воротничке.

Капитан Кляйвель по телефону назначил свидание своему гимназическому товарищу, присяжному поверенному Воронову, именно у Сарматовой. Ах, гимназические годы, первая любовь...

Воронов был радостно взволнован дружеским разговором с Эдди Кляйвелем. Для этого у Воронова имелись свои основания. Он был эсером, а отдельные господа офицеры еще до сих пор не взяли в толк, что эсеры — такие же патриоты «единой неделимой», как, скажем, сам генерал Марков. «Жалкие провинциалы, — с раздражением и досадой думал Воронов, — они меня не понимают». Да, да, дружба с высокопоставленным

англичанином может в кругах Добровольческой армии высоко поднять авторитет социалиста-революционера Воронова.

Но подумать только, какое удивительное совпадение, что именно Кляйвель оказался в составе английской миссии! Воронов припомнил: Эдди Кляйвель был отличным малым, водку пил, не отставая от других.

Испытывая радостный душевный подъем, Воронов надел белый шевиотовый костюм, превосходно сшитый в Ростове лучшим портным, и пошел в сад Сарматовой.

На улице только начинало темнеть. Прохожих было немного. Воронов сразу заметил впереди себя группу оперного вида итальянских офицеров в высоких парадных киверах с огромными плюмажами. Офицеров было пять или шесть, они окружили у ворот белого домика с зелеными жалюзи на окнах молоденькую девушку и с хохотом не выпускали ее из круга. Испуганная девушка, прижимая обе руки к груди, просила оставить ее в покое. Воронов увидел, что один из итальянцев обнял девушку за талию, и услышал жалобный крик о помощи. Не желая наживать неприятности, Воронов перешел на другую сторону улицы. Он все же успел увидеть неожиданный финал сцены: распахнулись зеленые створчатые жалюзи домика, и

в окно высунулась полная дама с горящими черными глазами и орлиным носом над усатой губой. Дама принялась выкрикивать в лицо ошеломленным офицерам с поразительной быстротой ругательства и проклятия на итальянском языке. Офицеры смиренно отступили, вежливо откозырнув напоследок своей сердитой соотечественнице. Девушка давно уже вбежала во двор.

«Нарвались! — смешливо подумал Воронов, пристукивая на ходу тросточкой. — Не повезло беднягам!»

Когда Воронов вошел в сад, здесь уже зажглись разноцветные электрические лампочки на протянутой меж деревьев проволоке. За столиками у эстрады садились офицеры, гремя палашами.

Воронов тотчас же заметил скромную худощавую фигуру своего гимназического товарища, одиноко сидевшего за столиком. Чтобы подойти к Кляйвелю, Воронов должен был пройти мимо компании марковских офицеров в черных мундирах, с тканной серебром эмблемой на рукавах: череп и кости. Он уже миновал их стол, когда с замиранием сердца услышал сзади себя хриплый бас:

— Па-азвольте, да ведь этот тип — из красных. Я сам слышал, как он ораторствовал в семнадцатом, на митинге...

— А вы, подполковник, ходили на митинги? — насмешливо перебил его кто-то из компании, и в это мгновение Воронов почувствовал, что чья-то сильная рука схватила его за шиворот, и замер на месте, боясь обернуться.

— Ну-с, милай-дорогой, — дурашливо произнес бас, — так как же насчет социализации земли, а?

— Я стою на платформе поддержки Добровольческой армии, — прошептал Воронов, чувствуя, что голос ему изменил.

— А я вот сейчас покажу тебе платформу... А я вот сейчас покажу... сейчас... платформу...

Приговаривая таким образом, марковский офицер одной рукой теперь держал Воронова за горло, а другой бил его ладонью по лицу. Никто вокруг не обратил особого внимания на это уже ставшее обычным зрелище: белый офицер бьет человека в штатском.

— Оставьте его, подполковник, — досадливо крикнул Кляйвель, не вставая, впрочем, с места. — Я ручаюсь за его благонадежность.

— А ты кто таков? — зарычал марковец, но его тотчас окружили приятели и, что-то шепча ему на ухо, быстро увели.

— Надеюсь, он тебя не очень больно?.. — с вежливым участием спросил Кляйвель, усаживая бледного и дрожащего Воронова за свой столик.

— Это возмутительно, — с трудом двигая вспухшими губами, выговорил Воронов, опускаясь на стул рядом с Кляйвелем. — Они думают, что если я — бывший эсер...

— Почему же «бывший»? — спросил Кляйвель.

— Уверяю тебя...

— А я тебя уверяю, — твердо сказал Кляйвель, — что отнюдь не «бывшие», а самые подлинные эсеры, в том числе сам Савинков, доблестно борются против большевиков.

— Ты бы это не мне, а им сказал, — заулыбался воспрянувший духом Воронов. («Между прочим, — подумал он, — получилось не так уж плохо: мерзавцы видели, что Кляйвель за меня вступился!») — Ну, здравствуй, Эдди! До чего же ты похорошел, черт возьми! Знаешь, сколько лет мы не виделись? Десять.

Небо было черное, в тучах, а здесь, в саду, весело и уютно горели фонарики. На ярко освещенной эстраде какая-то пара танцевала танго. Друзья, заказав кофе и бутылочку бенедиктина, предавались лирике.

Воронов уже почти забыл о пережитой неприятности и, запивая горячий кофе обжигающим ликером, весело болтал:

— Ты знаешь, ведь я от тебя не скрывал и тогда: с гимназических лет я вступил в партию эсеров. Где-то, левее нас, были грубые, озлобленные большевики; рядом — толковые ребята, меньшевики; справа — корректные кадеты; дальше — всякие Гучковы, Марковы-вторые... Полная ясность. Теперь все смешалось, все! Уже не слева, а над нами — большевики, а мы, все остальные, забыли распри и мечтаем об одном: сбросить большевиков в пропасть... Может быть, закажем в буфете что-нибудь посущественней? Здесь неплохо жарят шашлык на вертеле.

Кляйвель немного подумал и отказался:

— Мой рабочий день еще не закончен. Слушай, Толя, у меня есть к тебе небольшая просьба, ты не откажешь? Ну хорошо, хорошо, при чем поцелуи? Верю. Итак, скажу тебе по секрету: на Русско-Балтийском заводе снарядные стаканы делаются с браком — несомненный результат большевистской агитации.

— Всюду, всюду они несут с собой тлен и разложение! Я еще в семнадцатом говорил...

— Погоди. Речь идет о другом. Необходимо выявить большевистских агитаторов. Не знаешь ли ты кого-нибудь из них?

— Но ты разве забыл? — смутился Воронов. — Мы большевиками преданы анафеме и...

— Ты меня не понял, — стал терпеливо объяснять Кляйвель. — У тебя не может быть, так сказать, официальных связей, это понятно. Но, черт возьми, люди остаются людьми, кое-кого ты знал раньше...

— Из старых почти никого не осталось, Эдди!

— Ты сам говоришь — почти. Задача нелегкая, но если бы тебе встретиться — о, совершенно случайно, конечно! — где-нибудь на улице встретиться, остановиться, потолковать со старым знакомым...

— Он не подаст мне руки!

Кляйвель поморщился:

— Будь деловым человеком, Анатолий! Можешь уверить его в своем полном разочаровании в белом движении, пожалуйся, наконец, что тебя сегодня побили офицеры марковского полка... Знаешь, получилось довольно удачно, что этот мерзавец именно сегодня... гм... придрался к тебе, об этом завтра в городе заговорят.

— Пожалуй, действительно, здорово получилось, — загорелся Воронов. — Ей-богу, ты прав. Ну что же, попробую.

— Отлично. Живу я у теток. Будут новости — дашь знать. — Кляйвель посмотрел на часы: — А сейчас — иди. Если бы ты знал, сколько у меня дел!

— Еще бы, — почтительно сказал Воронов. — Еще бы! Он замялся и вдруг, наклонясь к уху Кляйвеля, спросил дрогнувшим голосом:

— Слушай, Эдди, а что, если все же победят большевики? Что тогда делать?

Кляйвель снисходительно улыбнулся, как взрослый улыбается неосновательным страхам ребенка:

— Меня принимал перед отъездом мистер Черчилль. Ты слышал о мистере Черчилле? Очень влиятельный государственный деятель, хотя относительно еще молод. Я понял из его слов и... некоторых интонаций его голоса, что опасения твои необоснованны.

— Ну, слава богу! — молитвенно прошептал Воронов. — Слава богу!.. — И крепко пожал, прощаясь, руку Кляйвеля.

Проходя на обратном пути мимо столика, за которым кутили марковские офицеры, он высокомерно скривил губы. Его давешний обидчик, краснолицый подполковник, отвернулся с

ворчанием собаки, собравшейся вцепиться в чью-то глотку, но услышавшей от хозяина властное «тубо!».

Воронов с поднятой головой миновал опасное место и почти столкнулся с высоким пожилым человеком в элегантном сером пальто и в мягкой шляпе с большими полями.

«Инженер Свиридов! С Русско-Балтийского завода! — сразу узнал он прямой стан, бородку клинышком, как на портрете Тимирязева, и твердо сжатые губы. — Вот уж не ожидал его здесь увидеть!»

Свиридов направлялся к столику Кляйвеля. Воронов еще с минуту смотрел ему вслед и увидел с чувством, похожим на ревность, как Кляйвель поспешно встал навстречу инженеру...

Кляйвель склонился в изящном полупоклоне:

— Я безгранично благодарен вам, Иван Павлович, за то, что вы откликнулись на мое приглашение. Я надеялся, что наше старое знакомство...

— Приглашение? — насмешливо переспросил Свиридов. — А я в простоте душевной думал, что это — повестка о явке. Немного меня смущало только одно: почему в сад Сарматовой, а не, скажем, в какую-нибудь комендатуру или... я уж не знаю, как это у вас называется?

Свиридов говорил очень тихо, с уверенностью, что никто его не перебьет. Закончив, он вопросительно посмотрел на Кляйвеля, который явно чувствовал себя не в своей тарелке.

— Что вы, Иван Павлович, что вы! — воскликнул Кляйвель, стараясь развязностью прикрыть смущение. Он ловко подставил стул Свиридову и сам уселся рядом. — Чаю? Вина? Мне говорили, что здесь сохранилось недурное «абрау».

— Вы очень возмужали с тех пор, как я вас видел в последний раз, — сказал Свиридов, не отвечая на любезное предложение. Старый инженер внимательно глядел в лицо офицера и говорил без улыбки, в голосе его совсем не было теплоты.

— И вы, Иван Павлович, очень изменились, — лицемерно вздохнул Кляйвель. — Правда, прошло десять лет, памятных для всех нас... и для вас в особенности. Я никогда не забуду дружбы с вашим сыном, павшим от руки нашего общего врага. («Может быть, удастся его деморализовать, если ударить по больному месту?»)

Свиридов при упоминании о сыне слегка побледнел. Потом быстро овладел собой.

— Сегодня ровно два года со дня гибели Николая, — тихо сказал он. — Как-никак, вы учились в одном классе. И вот — вы сделали такую блестящую карьеру... Мне вина, пожалуйста, —

заказал Свиридов
подобострастно
склонившемуся к нему
официанту.

«Дикарь! — подумал
Кляйвель со злобой. — Я ведь
предлагал ему поужинать.
Подчеркивает свою
независимость!»

— Вина и чего-нибудь
закусить, — отрывисто
приказал в свою очередь
Кляйвель.

Официант исчез с
такой быстротой, что фалды
его фрака не успевали за
ним. По всему было видно: он
получил особые инструкции
от хозяйки.

Кляйвель решил брать
быка за рога.

— Известно ли вам,
Иван Павлович, — начал он
холодным тоном, — что «не
все благополучно в
королевстве Датском»?



— Это где же? — равнодушно переспросил Свиридов. — Простите, плохо понимаю поэтические метафоры.

— Это — не метафора, — воскликнул Кляйвель, — это — преступление! Ваш цех, коего вы изволите быть главным инженером, недодает белой армии десятки тысяч снарядов!

Официант, щеголя ловкостью, подлетел с полным подносом, покоящимся на ладони правой руки.

— Виноват-с...

— Шашлыка не угодно ли? — спросил Кляйвель Свиридова. — Нет? Очень жалею, шашлык с виду хорош.

— Карачаевский барашек-с, — осмелился заметить официант, разливая вино в бокалы.

Кляйвель холодно посмотрел на него. Официант, профессиональным жестом сунув салфетку под мышку, тотчас исчез, точно его и не было.

— Чье же это, по-вашему, преступление? — первым вернулся к разговору о снарядах Свиридов.

— О, конечно же не ваше и не других инженеров, — пожал плечами Кляйвель. — И вас, и их, и вообще всю русскую интеллигенцию это большевистское море захлестнет в первую голову... если дать ему разлиться. Дело обстоит гораздо

серьезнее, чем вы думаете, — доверительно продолжал Кляйвель, понизив голос. — Я не хочу вас расстраивать, но скажу вам по секрету, что здесь, в городе, имеется опасный заговорщический центр, который именуется себя подпольным большевистским комитетом. Это именно он поднял известное вам восстание в Таганрогском округе, и вы знаете, какое восстание! Генералу Деникину пришлось снять несколько полков с фронта, чтобы кое-как локализовать повстанческое движение. Измена таится всюду, рядом с вами, рядом с каждым честным русским человеком!

— Измена? — переспросил Свиридов, медленно потягивая из бокала красное вино.

— Да! Лучшие сыновья Дона борются под знаменами генерала Деникина с наемниками большевистских комиссаров, а в это время рабочие вашего цеха, разложенные агитацией подпольного комитета, саботируют производство снарядов. Или вы скажете, это не саботаж?

Кляйвель впился в него глазами.

— Не знаю, — спокойно ответил Свиридов, — не знаю.

— Послушайте, — поднял белесые брови Кляйвель, — вы ведь прежде всего — русский патриот, не так ли?

— Да, я прежде всего — русский патриот, — подтвердил Свиридов, ставя свой бокал на стол, — но именно поэтому...

— Что? — быстро спросил Кляйвель.

— Именно поэтому я не испытываю особенного восторга от нападения иностранцев на Россию.

Кляйвель впился в него глазами:

— Вы — большевик?

— О нет! — усмехнулся Свиридов. — Я не люблю и не понимаю политики. Я не большевик, а просто — русский человек. — Он большими глотками отпил вина и продолжал, почти не тая насмешки: — Вас ввели в заблуждение. Никакого саботажа на заводе нет. Все дело лишь в нехватке сырья и материалов. Мы все, конечно, очень сожалеем, но что тут поделаешь!.. Я могу идти? — Он встал и окликнул официанта: — Получите, пожалуйста, я тороплюсь.

Оставшись один, Кляйвель в первый раз за последнее время понял, что его миссия будет, пожалуй, не так проста, как это думали в ставке: «Проклятые варвары! Они полны глупейших патриотических предрассудков и совсем не торопятся пожать протянутую им с Запада руку!»

* * *

Свиридов, выйдя из сада, перестал следить за своей походкой и выправкой. Там, у Сарматовой, ему не хотелось выглядеть в глазах англичанина, когда-то учившегося с его сыном, старым и жалким. Сейчас, шагая по темным и поэтому казавшимся мрачными улицам Таганрога, он сгорбился и устало переступал по выбоинам тротуаров.

Иван Павлович мысленно готовил себя к встрече с женой. Дома он бодрился. Иногда это ему удавалось.

Дойдя до одноэтажного особняка на Николаевской улице, Иван Павлович заставил себя подобраться. В квартиру он вошел таким гоголем:

— А я, Анечка, представь, был у Сарматовой. Знаешь ли, ничего! Шашлык там жарят совсем по довоенному рецепту...

«Боже мой, как она постарела!» — с горечью подумал он, глядя на худенькую женщину в черном, встретившую его в передней. Женщина подняла на него заплаканные глаза и молча обняла его. Нет, ее не проведешь! Она его видит насквозь...

— Иди, чай на столе, — тихо сказала Анна Михайловна. — А тут к тебе с завода звонили. Просили сейчас же дать знать, как придешь.

— А кто звонил? — с неудовольствием спросил Иван Павлович, входя в столовую.

— Андрей Николаевич. Ну, садись же, я налью. Но Свиридов насторожился:

— Что это я ему среди ночи понадобился? Он подошел к телефону.

Анна Михайловна, присев к столу, с удивлением слушала странный разговор мужа с директором огромного завода.

— Процент брака сегодня почти не больше вчерашнего, — громко и почему-то возбужденно говорил в трубку Свиридов. — Из-за чего, собственно, волнение?

После паузы, которая, очевидно, была заполнена репликой директора, Свиридов сказал:

— Да, считаю нормальным. Не вижу злого умысла, Андрей Николаевич, нет, не вижу!

Он положил трубку, как показалось Анне Михайловне, не дослушав возражения директора.

— Чаю, чаю! Анечка, умираю — дай чаю! И с печеньем! И с вареньем!

Анна Михайловна молча налила стакан чаю, явно не доверяя неожиданной попытке мужа сыграть весельчака-чревоугодника.

Иван Павлович сел рядом с женой за стол и стал прихлебывать горячий чай.

— Всё саботаж рабочих видят, — сказал он, почему-то прищурив с хитринкой левый глаз. — Помешались они на саботаже.

— А разве не саботаж? — спросила Анна Михайловна.

— Конечно, да! — неожиданно подтвердил Свиридов.

— И ты их покрываешь?! Они ведь большевики! — Она вымолвила это слово со страхом. — Большевики!

— Ну и пусть, — упрямо сказал Свиридов.

Анна Михайловна испугалась:

— Ванечка, ты стал сочувствовать большевикам?!

Возможно ли это?

— Нашествие двенадцати языков! — вдруг как будто совсем некстати воскликнул Иван Павлович. — Наш сын пал в бою с немцами, а тут навалились на нас и англичане, и французы, и еще несколько иностранных армий! Все напали на Россию!

— Подожди, — растерянно сказала Анна Михайловна, — не на Россию они напали, а на большевиков! Разве это одно и то же?

Свиридов немного помолчал, потом обнял за плечи Анну Михайловну и тихо сказал:

— Да, это одно и то же, дорогая.

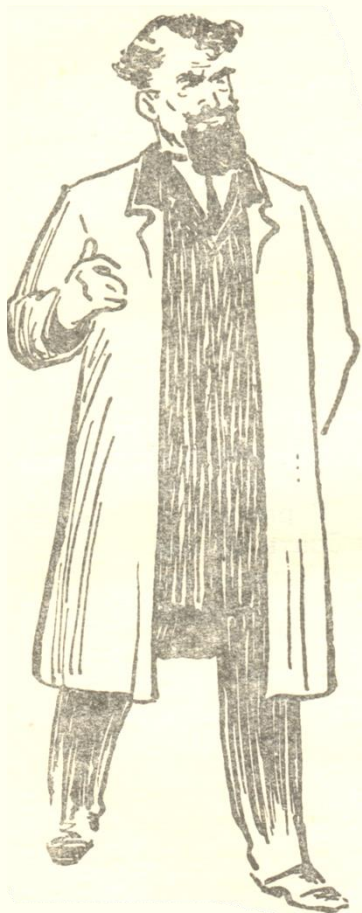
Член Государственной думы

Среди так называемых выборщиков от Таганрога блистал кадет, присяжный поверенный Александр Сергеевич Золотарев.

Выборщики должны были избрать из своей среды члена Государственной думы от Области войска Донского, и никто не сомневался, что избранным будет именно Золотарев.

Он был по-настоящему красноречив, то есть легко находил и разрабатывал разговорную жилу. Красиво посаженная голова, короткая, чуть седеющая эспаньолка, резко очерченный рот, умение держать себя с достоинством и ко всему этому набору — мягкий, приятный голос — все, все заставляло таганрожцев, а особенно таганрожек, влюбляться в «нашего златоуста».

В глазах сограждан он был одновременно и Цицероном и Маратом. Он не только вел в судах крупнейшие денежные иски местных купцов, но находил еще время произносить зажигательные речи на собраниях! А кто мог сравниться с ним в изящных манерах, в умении удачно сострить или прелестно пройтись в мазурке на балу в общественном собрании!



— Златоуст! —

говорили о нем просвещенные
негоцианты и владельцы
хлебных ссыпок.

— Душка

Золотарев! — шептали дамы,
протискиваясь в судебный
зал, чтобы услышать
очередную блестящую речь
Золотарева.

Было совершенно
очевидно, что Золотарев
очарует и переговорит своих
конкурентов. Этот человек
незаурядных способностей и
привлекательной внешности
по-настоящему привлекал
сердца таганрожских буржуа.
Им импонировали его
костюмы, шитые в Лондоне, а
также адвокатская слава и
несколько блестяще
выигранных судебных
процессов. Первым в

Таганроге он приобрел автомобиль и ездил с
шофером, наскоро переквалифицировавшимся из
жокеев. Редкие прохожие долго смотрели вслед

окутанной дымом заморской машине. Могло ли быть, что такой удачливый человек потерпит неудачу при выборах?!

...Вчера, накануне баллотировки, выборщики, съехавшиеся со всех мест Области войска Донского в Новочеркасск, собрались здесь в Дворянском собрании.

— Ну-с, дорогой Александр Сергеевич, — сказал Золотареву его земляк и коллега, присяжный поверенный Араканцев, — выберем мы вас членом Думы, а сами вернемся к нашим обыденным занятиям... Вы уж там, в Петербурге, нас не забудьте!

— А может, вовсе и не меня выберут, — лицемерно вздохнул Золотарев, — а кого-нибудь другого... Вас, например, Михаил Петрович...

— Что вы, что вы! — весело рассмеялся Араканцев. — Кто меня станет выбирать?! Да я и не желаю — зачем мне умирать раньше времени!

— Это почему же умирать? — вмешался в разговор кто-то из выборщиков. — Что такое?

— Климат! — многозначительно ответил Араканцев. — Врачи мне климат Петербурга строго-настрого запретили. Больше недели, говорят, там не протянете!

В глазах его собеседников появилась дружеская теплота. Араканцеву жали руку,

похлопывали по плечу. Сообщение о том, что климат столицы смертоносен для бедняги, почему-то вызвало особенное расположение к Араканцеву остальных выборщиков.

— Значит, баллотироваться в члены не будете? — переспросил старичок с фиолетовыми щеками.

— Ни-ни! — Араканцев даже зажмурил глаза. — Вraga я себе, что ли?

Когда сегодня утром, в день выборов, новочеркасец Харламов предложил назвать кандидатов, первым выступил Золотарев. В конце своей блестящей речи он заменил вскользь, что, если на него будет возложено бремя депутата, он себя не пожалеет. В наступающей тишине кто-то сказал протяжно:

— Себя, значит, предлагаете? Тут поднялся Араканцев:

— Все вы, господа, достойные кандидаты. А вот меня уж увольте. У меня семья, зачем же мне сирот оставлять? Все равно откажусь!

Все дружно зааплодировали.

Каждый из выборщиков боялся усилить позиции своих конкурентов и каждый втайне решил положить белый шар Араканцеву, единственному человеку, который все равно откажется от избрания.

Подсчитали голоса, и оказалось, что Араканцев избран единогласно. Сначала все смутились, а потом заулыбались и захолопали.

— Очень благодарен за доверие, — громко сказал Араканцев, вставая, — постараюсь оправдать.

— Что? Что такое? — взволновались выборщики.

— Да вы, милостивый государь, отказываетесь от избрания или нет? — фистулой закричал старичок-ростовчанин, становясь из фиолетового багровым. — Отказываетесь или нет, я вас спрашиваю?!

— Не смею отказаться, — сухо, но весьма внятно ответил Араканцев уже на ходу.

— Ах, с-сукин сын! — полувосторженно, полунегодующе закричал ему вслед старичок...

Этих сегодняшних событий еще не знали в Таганроге.

...В два часа дня должен был прибыть на станцию Таганрог поезд из Новочеркасска. К этому времени на вокзал собрались местные «политические деятели» с супругами: было известно, что именно с этим поездом вернутся таганрогские выборщики, и среди них только что избранный член Государственной думы, то есть уж конечно Александр Сергеевич Золотарев.

На вокзал прибыла и жена Золотарева, томная и вечно болеющая особа, по имени Клеопатра. На ней была огромная шляпа с «плерезом» — дорогим траурным пером. Таганрогские дамы перешептывались, глаза на это перо. «Вечно она придумает нечто необыкновенное!» — шептались дамы, «просто приятные и приятные во всех отношениях», осуждая худую, с лошадиным лицом мадам Золотареву.

Без пяти минут два представительный и важный станционный швейцар ударил в колокол: три удара и легкая музыкальная трель, исполненная с необыкновенным мастерством. Это значило, что поезд вышел с последней станции — Бессергеновки. Вся таганрогская знать втянулась в широкую парадную дверь, ведущую на платформу. У многих дам были в руках букеты цветов.

— Медам и месье! — подбегал то к одной, то к другой супружеской паре городской голова Йорданов. — Дадим сначала Александру Сергеевичу произнести речь, а уж потом — аплодисменты и букеты. Ради бога! — он прижимал к груди руки, умоляюще глядя на представителей местного бомонда. — Ради бога, будем придерживаться порядка!

Но паровоз уже плавно подвел недлинный состав к дебаркадеру и замер. Только сейчас все

заметили, что на платформе выстроился оркестр пожарной команды. Толпа устремила к вагону первого класса.

Кто-то закричал:

— Александру Сергеевичу Золотареву — ура!

Капельмейстер сделал страшные глаза и взмахнул палочкой. Оркестр грянул туш. Неожиданно на площадке вагона показался Араканцев. За эти три дня он как будто помолодел.

— А где же Александр Сергеевич? — крикнули ему. Не отвечая, Араканцев повелительно простер руку, капельмейстер погрозил палочкой музыкантам, туш замер.

— Благодарю вас, господа, — снисходительно сказал Араканцев, — благодарю вас за встречу. Постараюсь в качестве члена Государственной думы оправдать то высокое доверие, которое...

Кто-то протяжно свистнул. Но Араканцев, пожимая руки направо и налево, шел уже по платформе. Все, позабыв, что собрались встречать другого, старались не отстать от вновь испеченного государственного деятеля. Перья дам колыхались на ходу.

Выждав, когда блестящая толпа скрылась в дверях вокзала, крадучись из вагона вышел

Золотарев, поднял воротник пальто и шмыгнул в боковую калитку.

Капельмейстер деликатно сделал вид, что не заметил его.

Октябрь в январе

Таганрог дичал. По заснеженным улицам бродили пьяные от водки и ненависти офицеры; редкие прохожие, увидев их, пугливо сворачивали в ближайшие дворы.

В конце января 1918 года из пригородов Таганрога — Новостроенки, Камбициевки, Касперовки — двинулись вооруженные рабочие устанавливать в городе рабоче-крестьянскую власть. Юнкера местного юнкерского училища предательски стреляли из-за угла, отступая повсюду в открытых стычках. Впрочем, в здании гостиницы «Европейской» они еще держались.

Примерно в двенадцать часов хмурого январского дня 1918 года пулеметная стрельба утихла. Глухие одиночные винтовочные выстрелы еще раздавались не разберешь откуда: то ли со стороны винного склада, где засела большая группа юнкеров, то ли со стороны почты.

В начале первого человек средних лет, одетый в добротную, но несколько мешковато сидевшую на нем хорьковую шубу, нажал кнопку звонка в подъезде одноэтажного домика. На карточке, прибитой к дверям, значилась фамилия врача, родившегося, выросшего и состарившегося в Таганроге.

— Звонят, откройте! — крикнул доктор из своего кабинета. Не дожидаясь, он вскочил и быстро, юношеской походкой пошел открывать дверь.

Доктору было уже за шестьдесят. О его возрасте можно было догадаться по резким морщинам на высоком, хорошей формы лбу, по легкой седине, уже покрывшей его густые, мягко вьющиеся волосы. Вместе с тем природа сыграла с ним шутку, оставив ему на седьмом десятке звучный голос, порывистость, быстрюю, легкую походку и страстный интерес к жизни.

Таганрожцы любили своего старого врача, чувствуя его искренность и доброжелательство, и охотно шли к нему не только за врачебным советом. О многих своих горестях поведали они доктору за истекшие сорок лет!

Однако кому это пришло в голову притащиться сейчас за советом, хотя бы и врачебным? Кто этот странный пациент? Какая неугомная болезнь погнала его к врачу под пулеметным огнем?

— Ну, входите, — ворчливо сказал доктор пациенту.

— Идите, сам справлюсь, — сказал он домочадцам, выбежавшим на неурочный звонок.

Пациент окинул внимательным взглядом пустынную улицу и поспешно захлопнул за собой дверь.

— Здравствуйте, доктор, — сказал он, — извините, что потревожил вас.

Доктор, не отвечая, внимательно взгляделся в лицо посетителя и, вдруг обняв его за плечи, помог ему опуститься на стул. Это было как раз вовремя. Посетитель, видимо, делал над собой усилие, чтобы не потерять сознание.

— Сердце? — отрывисто спросил доктор.

— Да... пуля, — слабым голосом ответил пациент и еле заметным движением руки показал на грудь.

Теперь доктор разглядел крохотную дырочку в ворсистом сукне шубы, как раз против сердца.

Через пять минут пациент, голый по пояс, лежал на кушетке в кабинете, доктор промывал ему ранку у левого соска и говорил:

— Здорово вам повезло, милый человек. Пуля прошла под кожей и вышла, не причинив вреда. Как иглой прошила!.. А какого черта вас, собственно, понесло на улицу?

Пациент вздохнул и сказал:

— К вам, доктор, торопился.



— Ко мне? — Доктор уже заканчивал перевязку. — Довольно оригинально: в поисках врачебной помощи получить пулю в сердце!

— Этого я не предвидел, — весело засмеялся уже совсем оправившийся пациент, поднимаясь с кушетки.

Он быстро оделся и, взявшись за шубу, стал разглядывать дырочку, проделанную пулей.

— Как вы думаете, доктор, удастся заштопать? — спросил он озабоченно.

— Не знаю, — рассердился доктор, — я не портной. Вам, кажется, больше жалко шубу, чем собственную шкуру?

Посетитель несколько смутился.

— Видите ли, — сказал он очень серьезно, — шкура — моя, а шуба-то — чужая, напрокат взятая.

— Напрокат? — заинтересовался доктор.

— У домохозяина. Неудобно, знаете ли, сегодня в центре города в своем, рабочем... Юнкерье задержало бы.

— А вы рабочий? — спросил доктор.

Пациент, не отвечая, пристально смотрел ему в глаза.

— Что такое? — рассердился доктор.

Посетитель огляделся, точно боясь, что их подслушают, и сказал, снизив голос:

— Доктор, у нас много раненых... и некому им помочь.

— Я — не хирург, я — терапевт, — ворчливо заметил доктор. — И потом — у кого это «у нас»? У большевиков? Так имейте в виду: я с вами не согласен, не согласен! Гражданская война, которую вы затеяли, сударь вы мой, это такая штука... Пойдите, куда вы?!

Посетитель молча и с ожесточением натягивал на себя простреленную шубу.

— Всю жизнь свою лечили богатеньких, я и позабыл, — сурово сказал он, нахлобучив на лоб шапку. — Прощайте.

— Да, да, не согласен! — закричал доктор, торопливо кидая инструменты в большой кожаный несессер с блестящим никелевым замочком. — Погодите, чуть йод из-за вас не забыл!

— А бинты? — спросил посетитель. — И потом, имейте в виду, если юнкера застигнут вас в нашем расположении...

— Бинты я положил, — нетерпеливо прервал его доктор, надевая пальто, — но меня интересует другое...

— Вата? — деловито спросил посетитель.

— К черту вату! Не выбросите ли вы за борт интеллигенцию?

Увидев улыбку на лице посетителя, доктор сердито отвернулся и крикнул:

— Маша, я ухожу к больному... дня на два.
Можете обо мне не беспокоиться!

Городской голова

История многих людей в старом Таганроге причудлива и петлиста.

Таганрогский аптекарь И. Дельсон, хилый и маленький старичок с козлиной бородкой, обладал фантазией и тщеславием Тартарена из Тараскона. Начиная хвастать, он терял всякую меру. Из его рассказов помнится запуганная история о необычайной дружбе, которую якобы Достоевский питал к аптекарю. Когда старый враль бывал в ударе, из его повествования можно было заключить, что он писал для своего друга наиболее трудные главы романов, а, например, «Преступление и наказание» будто бы было написано Дельсоном целиком, с начала и до конца, и к тому же — за один вечер.

Трагедия беззлобного вряля была в том, что местные слушатели знали его репертуар наизусть и неделикатно высказывали ему недоверие. Рассказчику это было до крайности обидно — он сам, увлекаясь, верил в то, что рассказывал.

Но случилось однажды так, что ему поверили, и окончилось это худо.

Странные дела стали твориться в городе. Осенью 1917 года в Таганрог приехал бежавший из Петрограда кадетский лидер Родичев и выступил на

митинге, организованном местными кадетами в большом зале кинотеатра «Аполло». Тон ораторских выступлений по адресу большевиков был явно погромным.

В зале бросалось в глаза обилие калединских офицеров и юнкеров, демонстративно аплодировавших заявлениям о скорой гибели «захватчиков власти».

Неожиданно на сцене появился Дельсон. Он был в чрезвычайном ажиотаже. Наконец-то его будут слушать не двое-трое знакомых, а полный зал! Задыхаясь от волнения и радости, он закричал, напрягая старческий, надтреснутый голос:

— Карл Маркс не раз советовался со мною, когда писал свои труды!..

В зале вспыхнул смех, но в группе офицеров, державшихся особняком, раздались злобные выкрики:

— Кто пустил этого большевистского прихвостня?!

— Наверно, он приехал в запломбированном вагоне!

— Да, в запломбированном! — крикнул в восторге аптекарь. — Слушайте же, я вам сейчас расскажу, как мы ехали...

Но знакомые уже уводили полупомешанного старичка за кулисы.

Он немного посидел там в одиночестве, что-то бормоча и с кем-то продолжая спорить, потом, нащупав в полумраке дверь, вышел в темный сад, шумевший голыми верхушками деревьев. А утром аптекаря нашли на аллее мертвым, с головой, разможенной чем-то тупым и тяжелым, вероятно рукояткой офицерского пистолета...

Может быть, этот рассказ нуждается в добавлениях. Может быть, стоит рассказать о неожиданном знакомстве старого аптекаря с городским головой, меценатом и богачом доктором Павлом Федоровичем Йордановым, с которым состоял в переписке Чехов, и о странной попытке аптекаря связать свое имя с сооружением и Таганроге памятника Петру Первому.

Йорданов был женат на богатейшей землевладелице Таганрогского округа Лякиер. Землевладелице, а не помещице: ей принадлежало не так уж много (на тогдашний счет) сотен десятин земли, но вся эта земля была под знаменитыми фруктовыми садами промышленного значения. Злые языки говорили, и, кажется, не без основания, что истинная девичья фамилия жены городского главы была не Лякиер, а Лякер: буква «и» заставляла звучать фамилию на французский манер. Кажется, аптекарь Дельсон состоял в каком-то родстве с семейством Лякер. Вероятно, так и было, иначе чем

объяснить частное знакомство старого бородатого аптекаря с блестящей дамой, всегда одетой по последней парижской моде, женой будущего члена Государственного совета?

А между тем мадам Иорданова частенько заезжала в квартиру Дельсонов и подолгу беседовала с женой аптекаря, знаменитой в городе Миной Марковной. Это была веселая и острая на язык старуха. Позже, в 1914 году, когда Мину Марковну война застала на каком-то заграничном курорте и она кружным путем, морем через Швецию, вернулась в Таганрог, счастливо избежав немецких мин, она сама острила по этому поводу, что, мол, старику Дельсону не повезло: жена его избежала мин, а он сам столкнулся с Миной.

Впрочем, она относилась к старику очень заботливо и терпимо. Его отчаянную похвальбу и вранье она пропускала мимо ушей и только с сожалением наблюдала, как подраставшие два ее сына, Роберт и Иосиф, полностью и даже, кажется, с добавкой унаследовали склонность отца к лживым и хвастливым рассказам.

Иногда мадам Иорданова приезжала к старикам Дельсонам со своими двумя же сыновьями — сверстниками сыновей Мины Марковны — Михаилом и Сергеем. Оба мечтали о поступлении в привилегированное высшее учебное заведение,

училище правоведения или хотя бы в Александровский лицей. Оба были оболтусами, но каждый на свой лад: Михаил был оболтус меланхолический, а Сергей — сангвиник. Это мало что меняло. И Михаил и Сергей считали появление их матери у жалкого аптекаря ужасным шокингом. Они сидели за столом «этого старого еврея» вытянувшись, точно аршин проглотивши. Мина Марковна радушно приглашала их отведать многочисленные вкусные яства, стоявшие на столе, но они чопорно отказывались, щелкая под столом каблуками лаковых туфель.

— Да вы кушайте, — уговаривала их Мина Марковна. — Вы, может, думаете, что мы кладем в пироги христианскую кровь? Нет, мы ее кладем только в мацу!

Она не очень весело смеялась. Мадам Иорданова делала ей большие глаза.

Возможно, что именно чопорные Михаил и Сергей Иордановы зародили в Роберте и Иосифе Дельсонах тягу «наверх». Роберт рвался в столицу, а Иосиф однажды заявил матери, что у него открылся голос и что он поступит в консерваторию.

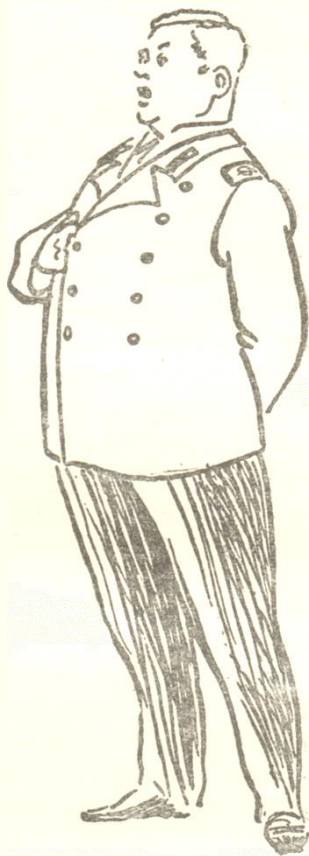
— Голос? — язвительно переспросила Мина Марковна. — Голос тебе пригодится и на юридическом факультете.

Добыть обоим сыновьям звание помощника присяжного поверенного было для Мины Марковны пределом мечтаний. Роберт вскоре уехал учиться в Петербург, и следы его на много лет затерялись. Только в конце двадцатых годов его фамилия промелькнула в нашей прессе: эмигрировав в Лондон, Роберт Дельсон, бывший русский присяжный поверенный, стал видным адвокатом в Англии с немалой известностью и практикой. Именно ему, судя по газетам, поручила одна из уцелевших русских великих княгинь ведение знаменитого дела об истребовании бриллиантов русской короны. Дело это он, впрочем, с треском проиграл.

Что же касается Иосифа Дельсона, то, учась на юридическом факультете в столичном университете, одновременно — по крайней мере, по его утверждению — он учился в Петербургской консерватории по классу пения, совершенствуя свой природный бас. Хотя, приезжая на вакации в Таганрог, он подробно рассказывал о своих необыкновенных успехах именно в пении, таганрожцы ему не верили. Легкомысленной репутации Оси, как все звали Дельсона-младшего в Таганроге, способствовали его смешная наружность круглолицего толстяка с бычьей огромной головой и его желание выглядеть «белоподкладочником», как

тогда называли особо франтящих и подражающих гвардейским офицерам студентов.

Конечно, оба молодых Иордановых, приезжая на рождественские каникулы в Таганрог, далеко оставляли за собой Оську, хотя тот напяливал студенческий мундир, который так редко можно было увидеть (студенты обычно носили тужурку или форменный сюртук), и шпагу, что совсем уж было в редкость. Рядом с блестящими мундирами лицеистов, в которых щеголяли высокие, худосочные и прыщавые братья Иордановы, Оська проигрывал и сам это понимал. Он компенсировал проигрыш невероятной похвалой о своих успехах певца. Он уже утверждал, что его приняли на сцену императорского Мариинского театра в Петербурге,



что он дебютировал в Милане в театре «Ла Скала» в роли Мефистофеля и что Шаляпин от зависти заболел. Когда же таганрожцы приглашали Осю спеть на благотворительном концерте или просто на именинах, Ося обижался и отвечал, что ему профессора запретили петь слишком часто:

— Я ведь не любитель какой-нибудь!

Что касается Дельсона-отца, тот удваивал и утраивал похвальбу младшего сына и рассказывал истории совсем уж фантастические, например, что итальянский король Виктор Эммануил валялся в ногах у Оси, умоляя навсегда поселиться в Италии, или что папа римский катал Осю в ландо, причем прохожие спрашивали друг друга: «Кто этот старик, который сидит в ландо рядом с знаменитым русским певцом Иосифом Дельсоном?!»

Потом Ося вдруг переменял амплуа. Спустя год или два, приехав в Таганрог, он уже ни слова не говорил о консерватории и о своих успехах певца, а солидно рокотал (бас-то у него все же был!) о своей карьере банкира. Будто бы знаменитый банк Лионского кредита пригласил его на пост вице-директора.

На следующий год слегка облысевший Дельсон-младший толковал уже не о Лионском, а о Международном банке, к тому же утверждая, что побывал в Лондоне у английских финансистов и

договорился занять должность директора ростовского филиала.

— Разве вы говорите по-английски? — высокомерно спросил его старший из сынков Иорданова.

— Лучше, чем вы — по-русски, — дерзко ответил Ося.

— Говорит ли он по-английски? — с хорошо деланным удивлением переспрашивал любопытствующих знакомых Дельсон-отец. — Я сам читал ему вслух Диккенса по-английски, когда Осе было десять лет!

Забегая несколько вперед, скажем, что в 1919 году в Ростове он действительно занял пост директора крупного отделения именно Международного банка. Как и почему это случилось — неизвестно. Но случилось. Ося был поистине человеком больших неожиданностей!

Правдой отчасти обернулось и вранье Дельсона-отца относительно собственных его связей с русскими писателями. Что касается сказки о близости с Достоевским — Дельсон утверждал, что «Братья Карамазовы» написаны под его, аптекаря, влиянием, — это было чепухой, а вот случайное личное знакомство аптекаря с Чеховым, кажется, и в самом деле произошло.

В один из приездов в Таганрог Антон Павлович как-то зашел вечером в аптеку Дельсона. Со звоном открылась дверь в аптеку, и на звонок из каких-то глубин, а точнее — из квартиры, спрятанной на антресолях, вышел заспанный аптекарь с седеющей бородой и ворчливо спросил, что надо. Он взглянул на рецепт, бормоча жалобы на судьбу, не дающую покоя ни днем, ни вечером, и вдруг прочел латинские слова «Pro me», что значит — «Для меня», и увидел подпись Чехова. Он внимательно посмотрел поверх очков на посетителя...

Это было возможно. Но дальше шло уже то, что на таганрогском языке именовалось «брехня»: Дельсон будто бы обнял Чехова, который, как известно, вовсе не был склонен к фамильярностям, и повел его к себе на антресоли, где Ося стал не то петь для гостя «Блоху», не то читать вслух Шекспира в подлиннике.

В рассказе «Неосторожность» Чехов смешно описывает старого аптекаря, жалующегося на судьбу: «Каждая собаке, каждая кошке имеет покой...» Дельсон клялся, что это списано с него. Утверждал старый Дельсон еще и другое: что именно он подал городскому голове Иорданову идею просить Чехова помочь в сооружении в Таганроге памятника Петру Первому. Дело было

так: однажды аптекарь вошел в свою гостиную, когда там была мадам Иорданова, и не очень внятно произнес взволнованный монолог. В общем, урожденная Лякиер поняла просьбу старика передать мужу, что если уж ставить кому-нибудь в Таганроге памятник, о чем усиленно говорят, то именно Петру, поскольку он насадил здесь дубовую рощу и лично посетил город. Правда, город посетил и другой царь, Александр Первый, и даже всемилостивейше соизволил умереть здесь, но рядом с Петром он проигрывал и ростом и заслугами, и к тому же одному Александру, именно Второму, памятник в Таганроге уже имелся. Помнят старые таганрожцы, что какие-то колебания в выборе царской фигуры для памятника среди управцев были. Кто знает, может статься, что мнение властной мадам Иордановой, если только она приняла точку зрения Дельсона, и сыграло какую-то роль...

Деятельная переписка Чехова с городским головой Иордановым хорошо известна. Известно, что именно по просьбе Чехова замечательный скульптор Антокольский безвозмездно выполнил модель памятника и отлил в бронзе за свой счет, не взяв с города ни рубля. Такова была дань любви замечательного скульптора замечательному писателю.

Привычные хапуги из так называемого городского самоуправления Таганрога меньше всего ожидали отказа прославленного скульптора от многотысячного гонорара и заранее заверстали в свой личный доход некий «навар», привычный для них во всех случаях подрядов и поставок для города. Узнав, что заказ столичному скульптору должен стоить тысяч двадцать пять, а то и больше, управцы составили смету на сорок две тысячи рублей, считая, что тысяч пятнадцать им останется наверняка. Если бы член управы Кулаков, непосредственно ведавший материальной частью, к тому времени не проигрался шибко в карты, возможно, что он не стал бы форсировать события. Однако ему невмоготу стало ждать представления счета, и он уже заранее положил в карман пятнадцать тысяч городских средств, имея в виду позже «перекрыться» исполнительной сметой. Антокольский сразу же разбил все расчеты хапуги, отказавшись от вознаграждения. Об отказе напечатала местная газета «Таганрогский вестник», известие распространилось слишком широко. Что же оставалось делать? Вернуть в кассу пятнадцать тысяч?

Павлу Федоровичу Иорданову, чуждому корысти (благодаря крупному состоянию жены он в деньгах не нуждался), стало доверительно известно

о затруднениях члена управы Кулакова, и он рвал и метал. Что скажет Чехов?! В суд! Прокурору! Доложить на заседании городской думы!

Пыл Павла Федоровича охладила его супруга. Дело в том, что шалопаи сыновья то и дело присылали ей слезные письма с просьбой перевести телеграфом от одной тысячи до трех, во избежание «бесчестия и пули в лоб»: речь обычно шла о карточных проигрышах то старшего, то младшего оболтуса, изо всех сил подражавших в столице образу жизни золотой молодежи. Елена Александровна Иорданова предпочитала улаживать неприятности, не посвящая в них мужа, человека вспыльчивого. Она брала деньги у своего управляющего садами. На этот раз управляющий заупрямился: урожай еще не поспел, а продавать на корню — значило продешевить немало. На помощь любящей матери пришла случайность: история с присвоением Кулаковым крупной суммы в счет ожидавшегося, но сорвавшегося «отчисления». Посредницей оказалась аптекарша Мина Марковна.

Зная о знакомстве или даже, быть может, родстве ее с блестящей супругой городского головы, Кулаков поведал ей свое горе.

— Мадам Дельсон, — сказал в заключение, задыхаясь от астмы, толстяк Кулаков, с багровым

лицом и огромной шишкой на лбу, — выручайте! А уж что касается благодарности...

— Пять тысяч, — коротко сказала Мина Марковна, Кулаков открыл рот и даже не сделал усилий его закрыть.

— Да, пять, — твердо повторила Мина Марковна. Иорданчихе для сына надо три, а мне, по-вашему, за хлопоты две много?!

Порешили на четырех. Точно предвидя размер неизбежной жертвы, Кулаков прихватил с собой завернутые в носовой платок именно четыре тысячи рублей хрустящими пятисотенными с изображением Петра, из-за памятника которому загорелся сыр-бор. Сделка состоялась, и на следующий день, утром, умиротворенная Елена Александровна сказала мужу:

— Поль, ты просто ничего не понял в истории с этими глупыми деньгами. Оказывается, Кулаков истратил на памятник не пятнадцать, а гораздо больше!

— Да, он проиграл восемнадцать, — язвительно согласился Иорданов.

— Да нет же, он уплатил рабочим за эту... как ее? Отливку!

— За отливку памятника в бронзе уплатил сам Антокольский, — сердито возразил городской голова.

Мадам Иорданова мило засмеялась.

— Что-то там оказалось не в порядке, пришлось заново переливать. Да у Кулакова все расписки!

— Это кто же, твоя Мина поведала?

Лицо Иорданова, холеное лицо интеллигента лет за сорок, покраснело от гнева. Впрочем, нос у него всегда и в спокойном состоянии почему-то сохранял бурачный оттенок, хотя никто никогда не видел городского голову в состоянии подпития.

— Я не понимаю, зачем ты к ней едешь! — крикнул Иорданов с запальчивостью и стукнул кулаком по столу.

Видимо, этот жест был лишним. С Иордановым случилось то самое, что и до и после него случалось со слабыми людьми: он переиграл и вынужден был отступить. Елена Александровна разбушевалась и даже прибегла к угрозе «порвать с вами и уехать!». Павел Федорович особенно был травмирован этим местоимением во множественном числе: он в душе всегда опасался, что его блестящая и богатая жена когда-нибудь бросит его. Примирение состоялось на условиях безоговорочной капитуляции мужа. О деньгах, будто бы присвоенных Кулаковым, с этого момента не стало речи ни между супругами, ни в думских кругах. Пятнадцать тысяч рублей были списаны на

памятник Петру Первому. Сам гневливый царь поступил бы, наверно, иначе и велел бы Кулакова отодрать, но царствовавший тогда Николай Второй был милостив к хапугам, и вообще, как говорится, ему было не до того.

Десятилетием или двумя позже Павел Федорович Йорданов, уже не городской голова, а член Государственного совета, возил автора этих строк на прием к знаменитому министру просвещения царской России Кассо.

Этот был тот самый год, когда впервые за всю историю царской России ее министра били по физиономии в присутственном месте. Ранее бывало всякое: министров убивали бомбой, стреляли в них, но бить по лицу — не били. В этом смысле молодой, жизнерадостный министр Кассо был, так сказать, новатором.

Дело было так. Кассо сидел с дамой в известном петербургском ресторане Донона, когда в зал вошел студент-первокурсник, сын этой самой дамы, и, увидев свою мать с каким-то посторонним мужчиной, отмстил за честь отца: подошел и залепил кавалеру звонкую пощечину. Кассо не нашел ничего лучшего, как вскочить и крикнуть на весь замерший зал:

— Как вы смеете?! Я — министр его императорского величества!

Тотчас двинулся из-за своего прикрытия всегда дежуривший в ресторане околоточный и добросовестно составил протокол о том, что «студент Беликов ударил рукой плашмя по лицу господина Кассо Льва Аристидовича». Протокол облетел все либеральные газеты, давно точившие зубы на ультрачерносотенного министра. Университеты России ответили на известие трехдневными забастовками протеста, а царь, видимо в утешение, пожаловал Кассо высший орден империи — Андрея Первозванного, и битый сановник продолжал ведать «просвещением».

Это произошло в марте 1912 года, а незадолго, в октябре 1911-го, я приехал в Петербург хлопотать о переводе с первого курса юридического факультета Харьковского университета на такой же курс Петербургского. По идее это, казалось бы, не заключало особых трудностей, но по циркуляру Кассо было затруднено до крайности. Циркуляр предписывал «лицам иудейского вероисповедания» поступать только в университет «своего» округа. Своим округом я должен был считать Харьковский, поскольку окончил Таганрогскую гимназию, входившую в этот округ. Я туда и поступил.

А вот теперь я искал возможности перевестись в столичный университет по семейным обстоятельствам (моя родня жила в Петербурге).

Мой отец списался с Иордановым — коллегой по врачебной профессии, и милейший Павел Федорович немедленно изъявил согласие мне посодействовать. Он был рад показать землякам свое могущество в новом положении члена Государственного совета.

В общем, в некое холодное, серое петербургское утро за мной на Пески заехал в своей карете Иорданов.

День оказался неприятным. Впрочем, общий прием мало нас устроил бы: обычно посетителей («просителей») выстраивали в зале полукругом, а сановник обходил всех и две-три минуты выслушивал жалобы и просьбы каждого. Затем секретарь отбирал заранее приготовленные прошения — и машина двигалась дальше. Трудно было в таких условиях добиться толку!

Визитная карточка Иорданова с указанием его положения члена высшей «законодательной» палаты сделала свое дело: министр принял нас в своем мрачном кабинете, наполовину занятом огромным письменным столом. Это был совсем нестарый человек, с каштановой бородкой клинышком, в визитке, с бриллиантовой заколкой в галстук. Словом, у министра оказался довольно интеллигентный вид.

Кассо поздоровался с нами кивком головы и пригласил сесть.

— Чем могу?.. — спросил он приятным баритоном, обращаясь к Иорданову.

Иорданов вынул заранее заготовленное прошение, заговорил, и я с удивлением заметил, что он робеет и, вероятно, потому излагает суть дела довольно бестолково. Кассо, впрочем, его понял.

— Молодой человек — иудейского вероисповедания? — вежливо переспросил министр, глазами указав на меня. И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Дайте прошение.

Иорданов подал, и Кассо острым четким почерком написал в уголке резолюцию, которую тут же и прочел вслух:

— «Перевод разрешаю при условии, что одновременно какой-либо студент императорского Петербургского университета, также иудейского исповедания, пожелает перевестись в Харьков».

Нам ничего не оставалось делать, как откланяться и уйти.

— Хочет баланс соблюсти... каналья! — процедил еле слышно Йорданов, когда мы вышли на улицу. — Все же надо попробовать!

Я попробовал. В газете «Русское слово» поместил объявление: «Ищу студента Петербургского университета, еврея, желающего

перевестись в Харьков. Звонить по телефону...» Над этим объявлением в те дни в столице много потешались, и мне со всех сторон звонили остряки.

— Желаете вывести гонимое племя из Петербурга? А как обмен, с доплатой?

(В конце концов отыскался вполне серьезный претендент. Я помню, что его звали Гриша Барский и что он отлично играл на бильярде. Нам казалось, что дело в шляпе: ведь есть резолюция господина министра!

Мы написали и передали в канцелярию короткое прошение на имя Кассо: «согласно Вашей резолюции» и прочее, я желаю перевестись в Петербург, а Барский — в Харьков.

К нашему изумлению и огорчению, Кассо нам отказал. Основание? Вот оно: «Имея в виду, что один из просителей — студент юридического факультета (это я), а другой — физико-математического (Барский)».

Я был уже в Харькове, когда до нас докатилась весть о мордобое в ресторане Донона. На общефакультетской сходке я внес к основному предложению о трехдневной забастовке добавление: «Выразить коллеге благодарность за нанесение пощечины». Поправку встретили дружным смехом, но отвергли...

СОДЕРЖАНИЕ

От автора
Миллионное наследство
Дело Вальяно
Дуэль
Старец Вронди
Номер «Правды»
Чудо Иоанна Кронштадского
Тайный советник Поляков
Консул республики Эквадор
Дворец Алфераки
Букет
Конец генерала Ренненкампа
Переплетчик Дараган
Инженер Свиридов
Член Государственной думы
Октябрь в январе
Городской голова